

8407
Ш 37 > 42

Сергей Шевченко

ДА ВЕРШИТСЯ

A stylized illustration in a dark brown color on a lighter brown background. It depicts a horse rearing up on its hind legs in the foreground. The background features jagged, rocky mountains and swirling, turbulent clouds or smoke, suggesting a dramatic or stormy atmosphere. The entire scene is framed within a diagonal band that runs from the bottom left towards the top right.

Сергей Шефченко

ДА ВЕРШИТСЯ

Повесть-хроника



АЛМА-АТА
«ЖАЗУШЫ»
1990

ЧАСТЬ I

В ПУТЬ!

Каждое новое поколение удивлялось своему времени от семи чудес света в древности до тысяч чудес века двадцатого. Одни восторгались могуществом человека другие пророчили конец света, вздыхая о прошедших добрых временах. О том, что наступившие времена не таковы, какими были предыдущие, писано и на древне-египетских папирусах, известно и по сетованиям наших бабушек и дедушек, а нашим детям и внукам — от нас.

Быстротечно и необратимо время. А мы еще всегда торопим его: нетерпеливо ждем какого-то известия, считаем дни до отпуска, скорее хотим завершить начатое дело, кого-то увидеть, куда-то доехать, долететь, и то и дело поглядываем на циферблат часов с бегущей по кругу стрелкой.

Скорости века убыстрили бег времени. В один день можно позавтракать в Иркутске, пообедать в Москве переговорить с Владивостоком или Парижем, встретиться с человеком, только что вернувшимся из Японии, увидеть на экране войну на Ближнем Востоке, извержение вулкана, покушение на президента, запуск космического корабля, расправу с демонстрантами, веселый карнавал. Кружится и кружится планета, мыслит, борется, страдает безумствует человечество. А завтра — новый день, новые впечатления вытесняющие из памяти прожитое, как резинка снимает карандашную запись с бумаги.

Со школьных лет история в нашем представлении

42146

Библиотечная
Том. 1990. 14-90

сб. 94

Ш 4702010201—027
402(05)—90 14—90

ISBN 5-605-00695-9

© Издательство «М» 1990

смена общественных формаций, войны, революции, громкие имена. Мы нередко больше знаем о Наполеоне, ходившем на Москву, чем о собственном дедушке, бравшем Берлин. Охотно отправимся в круиз по дальним странам, но не выберем времени ознакомиться с заповедными местами своего края или побывать в местном музее. Нам почему-то не приходит в голову, что фотографию зятянки, которую сегодня сносят бульдозером, стоило бы вместе с орденом вручать жильцам многоэтажного дома, который будет на ее месте построен. На память и в назидаение.

Набегающая на берег волна существует какое-то время сама по себе, оставаясь вместе с тем частью океана. Так же соотносится с историей и бегущий день. Он еще вершится, но он уже и уходит.

Не раз я пытался вести дневник. Начинал и бросал. Разные были тому причины.

И вот потянуло апрельским ветром. Не сразу поверилось в реальность заявленной программы. Слишком много уже было нам наобещано, разрыв между словом и делом стал не просто привычным, а будто бы незбылемым законом жизни. Но ветер набирает силу. Уже вошло в оборот слово, определяющее новый стиль, — перелом. Слово вроде решительное, но и его экспрессии оказалось недостаточно, заговорили о крутом переломе. И давний иску́с — оставить слепок времени в доступной мне объемности и полноте — вновь овладел мною. Сейчас, как никогда, необходимо осмыслить прошедшее и настоящее, осознать действительное положение дел и наши устремления.

Так родился замысел этой книги. Сюжет ее прост. Его будет двигать жизнь в уже обозначившихся и еще не предсказуемых проявлениях.

Если вам доведется быть в Светловодске, купите в киоске областную газету. На четвертой ее странице вы увидите фамилию редактора. Это и есть ваш покорный слуга.

В двадцать пять лет я считал сорокалетних мужчин

стариками — до сорока была еще такая вечность! Позже утверждал, что мужчина начинается с сорока. Отмечая полувековой юбилей, соглашался с теми, кто видел в пятидесятилетних становой хребет государства. А совсем недавно вычитал у Льва Толстого, что благодаря старикам, которые становятся умнее и добрее, сохраняется нравственное начало в людях, и уже без внутреннего сопротивления и без скорби причислил себя именно к этому возрастному разряду.

В Светловодске я уже более двух десятков лет; надо полагать, здесь и березкам шуметь над моей могилой. В заключение немного географии. Нашу область в известной мере можно считать типичной для Казахстана. По территории, как и многие другие, она превосходит среднее европейское государство. Климат резко континентальный, большинство районов степные, но есть и невысокие горные массивы. И степи и горы богаты полиметаллическими рудами, каменным и бурым углем, что обусловило развитие горнорудной промышленности, черной и цветной металлургии, энергетики. Сельское хозяйство области специализируется на выращивании зерновых культур и производстве мяса и молока.

Итак, в путь!..

Поставив перед собой задачу осмысливать начинавшееся обновление жизни нашего общества, я еще не знал, в какой форме удастся это выразить и удастся ли вообще, какой отрезок времени удастся охватить, дойдет ли написанное до читателя. Я шел за событиями, не очень заботясь о цельности повествования, стремясь к максимальной искренности и больше всего дорожа преимуществом избранного жанра — хроники — фиксировать приметы времени не ретроспективно, а с позиций переживаемого момента.

Готовя повесть к изданию отдельной книгой, не раз порывался кое-что в ней подправить, дополнить, углубить задним числом. На то есть свои причины. И главная

из них — расширение границ гласности, происходившее шаг за шагом. То, что вчера казалось смелостью, сегодня никого не удивляет, а завтра может стать тривиальным. Писателю нет нужды демонстрировать свою смелость, ему важнее написать о том, что выстрадано и осознано им.

Теперь, после многих публикаций в центральной печати, мы знаем о нашей истории несравненно больше, и на лавры первооткрывателя «белых пятен» я не претендую. Уверен в другом: далеко еще не удовлетворен читательский интерес к тому, как преломлялась эта история в человеческих судьбах, как сталинщина и брежневщина, низводя до обыденности ложь и двуличие, поработали и растлевали людей.

У перестройки, как говорилось об этом на одной из встреч М. С. Горбачева с руководителями средств массовой информации, есть уже своя история, и ее надо помнить и знать.

НЕИСТОВЫЙ ВЕНИАМИН

В начале нынешнего года приступил к работе в Светловодске новый собственный корреспондент «Рабочей газеты». Прежний был «аккредитован» у нас многие годы и прожил их незаметно. Входящий в высшие коридоры местных властей и охаживаемый ими, к нам, братьям своим меньшим, он только иногда снисходил. Публикации не выделялся: в большинстве это были репортажи-реляции о пучках, рекордных выработках, непритязательные зарисовки о передовиках. Новый, Вениамин Щеглов, имел известность журналиста с острокритическим уклоном, за что, как говорили, в свое время претерпел. Мы познакомились с ним в обкоме, а вскоре он и визит мне нанес.

Лет сорока пяти, очень подвижный, порывистый. На сближение пошел без всяких церемоний.

— Ну, старик, прошу любить и жаловать. Как вы

тут? Не обижают? Будем работать вместе. В шахматы играешь? Распрекрасно. Непременно сразимся, у меня мало кто выигрывает. Охотник? Жаль. А я ружьишком побаловаться любитель.

Первое впечатление было двойственным: с одной стороны «свой», с другой — что-то настораживало: излишняя самоуверенность, бесцеремонность? Налет какой-то бравады?

О прежнем соборе среди журналистов ходило присловье: домовит и плодовит, плодовит и домовит. Щеглова застать дома трудно. В его «куст» входит три области, и он все время в разъездах. Одна за другой пошли его корреспонденции. Нашу область он «прокатил» в статье «От имени и по поручению». На машиностроительном заводе в спешке забыли пригласить бывшую свою работницу на торжественное собрание, где вручалась медаль «Ветеран труда». Коробочку с медалью передали одной из награжденных, вручи, мол, от имени и по поручению. Пенсионерка принять награду отказалась и написала о своей обиде в корпункт. За фактом журналист увидел явление: формализм, бездушие в работе с людьми на машиностроительном заводе, неумение райкома партии за валом идеологических мероприятий видеть человека. Статья наделала много шума, ее обсуждали на бюро обкома. На Щеглова стали смотреть с некоторой опаской. Как-то заведующий отделом пропаганды обкома Алексей Филиппович Завьялов, словно бы между прочим, поинтересовался:

— Вы хорошо знаете Щеглова? Каков он в жизни, в быту, просто как человек?

Я ответил, что знаком с ним только официально.

— Уж очень он какой-то неистовый, — продолжал Завьялов. — Есть мнение, что он слишком много берет на себя. Говорят, в корпункт к нему без конца ходят всяческие обиженные, исключенные из партии, известные клезушки, он всех выслушивает, предлагает написать,

обещает разбираться во всем заново. Странная позиция. Вы смотрите, поосторожней с ним.

Потом был звонок от Шредера, управляющего крупным строительным трестом. Он в нашем городе на виду, в фаворе у начальства. Трест из года в год среди лучших в отрасли. Недавно пошли по городу слухи, что с Шредером неблагополучно: будто бы вскрыты серьезные финансовые нарушения, злоупотребления, преследование за критику. Вышел на него и Щеглов.

Шредер позвонил, как он выразился, по старой дружбе. Поговорив для приличия о том о сем, спросил:

— А что из себя представляет этот неизвестно откуда взявшийся Щеглов?

Выслушав мой ответ, доверительно попросил:

— Вы давно знаете меня. Поговорили бы с ним, зря он копает. Меня он не возьмет, хотя нервы, конечно, потреплет, а сам может нажить неприятности. Его информаторы, — Шредер назвал несколько фамилий, — сплошь крупно скомпрометировавшие себя люди.

При случае я передал разговор Щеглову.

— Знает кошка, чье мясо съела, — отреагировал он. — Дело с ним, старик, нечистое. Какой ему вы все тут, в том числе и твоя газета, культ создали. Но посмотрим, кто — кого.

Что-то насторожило меня в тоне Щеглова.

— А не впадаешь ли ты в излишний спортивный азарт? — укорил я его. — Что значит, кто — кого? Вы что, в силовой борьбе состязаетесь? Ты знаешь, как тебя за глаза уже называют?

— Как?

— Неистовый.

— Ха, ну и правильно — неистовый. А что — бесстрастным регистратором надо быть? Я не робот, я человек и коммунист. Меня такие люди, как Шредер, возмущают. Они колоссальнейший вред нашему делу наносят и в то же время выпячивают грудь, громко кричат о своей честности,

пользуются почетом и всяческими привилегиями. И уж если я вышел на такого зверя, то, извини, старик, во мне просыпается охотник. И я достану его, что бы мне ни пришлось — по следу ли идти или в скрадке таиться. А бывает, мне доводилось и на таких ходить, зверь сам нападает на охотника. А на тропе вопрос только так и решается — кто — кого. Моя профессия не для херувимчиков с крылышками, я зверобой.

— Ну и терминология у тебя.

— Погоди. По опыту знаю, какой маховик еще раскрутит твой Шредер, когда почувствует, что пахнет жареным, какие силы приведет в движение. Тогда только ты поймешь, что на такого зверя идучи, чресла свои мечом перепоясывать надо, а душу наполнять отвагой.

Действительно — неистовый!

Однажды я попытался сделать карандашный набросок его портрета. Какое-то сходство с оригиналом, кажется, удалось схватить, но суть в другом. Делая этот набросок, заметил, что плавных закругленных линий почти не потребовалось: все в его лице обозначено резко, четко.

— Я с детства не любил овал.

Я с детства угол рисовал, —

нередко вспоминал он известные поэтические строки, и они хорошо дорисовывали не только его характер, но и портрет.

Звонит как-то и спрашивает:

— Ты в автобусах едешь?

— Случается, говорю, — но не часто. На работу и с работы хожу пешком, по делам — есть редакционные машины.

— Жаль-жаль, старик. Конечно, пресволочнейшая штука переполненный автобус, но иногда там можно услышать невероятнейшие и прелюбопытнейшие вещи (превосходную степень он использовал в разговоре даже слишком часто).

— Впрочем, — продолжал он, — не телефонный разго-

вор. Хочу напроситься к тебе в гости. Нечеловечески устал. Понимаешь, все видят во мне только заступника, который должен, обязан и т. д., или изверга, которого надо опасаться. И если бы ты снизошел... посидеть в спокойной домашней обстановке, в шахматки сыграть, чайком побаловаться, а?

В неофициальном общении Щеглов был человеком интересным... и утомительным. Он много ездил по стране, в зарубежные командировки, был хорошо информирован, умел живо и интересно рассказывать. Но вдруг без всякого перехода начинал засыпать собеседника вопросами: что известно ему о том или ином факте, как он его расценивает, кто такой М. или П., а правда ли, что...

В эту встречу он буквально запытал меня вопросами о первом секретаре обкома. Хорош он или плох? Поднял область или заваливает? Как работает с кадрами? Каков вообще: скромн, высокомерн? Чуток, черств? Добр, жесток?

Признаюсь, не очень содержательную информацию получил он от меня.

Хорош или плох наш Калашников?

Он уже второй десяток лет первым у нас. И непросто разобраться: или первый должен быть таким, как Калашников, или Калашников нас приучил к мысли, что первый и не может быть иным, чем он. Видели мы его главным образом в президиумах разных собраний, выступающим с трибуны, вручающим знамена и ордена. Если на перекрестках появляются инспектора ГАИ в белых портупеях и перчатках, значит, ожидается проезд первого.

Область при нем? Что ж, развивалась промышленность, шло большое строительство. Из-за неблагоприятных погодных условий бывали неурожаи, выдавались и урожайные годы. Временами область по тем или иным показателям уступаивалась союзных и республиканских знамен.

На другие вопросы я ответить и вовсе не мог. О личной жизни Калашникова, о его вкусах, привычках, интересах,

семье я не знал ровным счетом ничего. Я видел и воспринимал его совершенно однозначно — первым, т. е. стоящим над всеми и обычными мерками измерения не подлежащим.

— Но ты многие годы присутствуешь за бюро, должно же у тебя сложиться какое-то мнение о его психологическом типе, сильных и слабых сторонах как секретаря, как личности? — наседали на меня Щеглов

В таком плане я, конечно, имел свое представление о Калашникове.

По образованию — инженер-металлург по многолетнему опыту — партийный работник. Но, строго говоря, больше хозяйственник, чем политический деятель. Не комиссар. Даром общения с аудиторией не наделен. Добро совестно читает подготовленные ему доклады и выступления, причем, зная его нелюбовь ко всякой «лирике и литературе» (по отзыву его помощника), составляют их ему сугубо деловыми, обильно оснащенными сравнительными показателями. Видел однажды первый экземпляр какого-то его доклада. Оказывается, во многих словах ему специально проставляют ударения, отдельные словосочетания подчеркивают волнистой или прямой чертой, что должно подсказывать оратору где нужно понижать, где повышать голос. Особыми знаками обозначают места, где следует делать паузы для выяснения многозначительности или в ожидании предполагаемых аплодисментов. Он много ездит по области, но ни разу не довелось слышать, чтобы он поделился кивками, впечатлениями, наблюдениями. В повестке дня бюро преобладание хозяйственных вопросов. Обсуждение проходит по строго заведенному порядку: отчитывается руководитель, задаются вопросы, выступают докладчики и члены бюро, заключает первый. Нередко мне казалось, что ради одной только формы, самой процедуры, впустую затрачивалась уйма времени на вопросы, которые можно было решить за считанные минуты. Заседания длились без перерывов по несколько часов до полного отупения

присутствующих. И еще, казалось мне, многое проигрывал он дежурными выступлениями. Не всегда было у первого что добавить к сказанному. Почему бы, заключая, в таких случаях и не ограничиться уточнением проекта постановления и на том обсуждение закончить. Нет, первый обязательно говорил речь, повторяя сказанное докладчиком, содокладчиком, выступающими. Тут ведь не только время впустую переводилось. Нельзя несколько раз в день по разным вопросам говорить подолгу и все время говорить умно. Непременно на тривиальности перейдешь, да и привыкнут к твоему говорению как к утомительной, обязательной, но ни к чему не обязывающей условности. Голос царский попусту не должен раздаваться — это замечание Пушкина не только царям следует помнить.

Наконец, нельзя было не заметить в работе бюро такую особенность: обсуждение шло на уровне высокой требовательности, спрашивали за дело будто бы очень жестко. Но решения принимались дежурные. Хотели коренного улучшения без чрезвычайных мер, озаботить всех, никого не беспокоя.

Не упомяну, сколько раз на бюро слушали, к примеру, руководителей мелиоративных служб. Раз за разом в той части справок, которая начинается словами «вместе с тем», перечислялись одни и те же недостатки, точнее, провалы в их работе. Системы орошения строились абы как, сдавались в эксплуатацию в ноябре-декабре, когда проверить их в работе было нельзя. По весне оказывалось: системы к эксплуатации непригодны. Недоделки, строительный брак лезли, что называется, изо всех щелей. Однажды речь шла даже о таком вопиющем факте: в одной из систем на протяжении нескольких километров... не оказалось труб. Траншею попросту засыпали землей! О данных заказчику заверениях устранить недоделки и брак никто и не вспоминал, все силы бросались на новое строительство. Отдача от поливного гектара, числящегося на бумаге, была ничтожной. Миллионы рублей

нерадивые хозяйственники буквально зарыли в землю.

Раз за разом обсуждался этот вопрос, произносились грозные слова о партийной ответственности, о подсудности, принимались решения: строго наказать, потребовать, обязать. И во главе многочисленных водостроительных и водохозяйственных организаций годами оставались все те же люди, они избирались депутатами, членами обкома, получали высокие оклады, премии, знамена. Надо думать, когда вопрос об их работе выносился на бюро, они рассматривали это как неприятность, избежать которой нельзя, а пережить можно. А уходя с бюро, наверное, облегченно вздыхали: слава богу, все обошлось, теперь наша очередь не скоро...

— А помнишь, я интересовался, едешь ли ты в автобусе?— вдруг спросил меня Щеглов.— Еду я на днях третьим маршрутом. Проезжаем мимо лесопарковой зоны у Иртыша, там, где голубой такой аккуратный забор, а за ним что-то строят. Вдруг слышу, один пассажир говорит другому:

— Смотри-ка, сиротский дом на глазах растет.

Что, думаю, за сиротский дом? Народ, он на всякие меткие названия мастер. В одном городе впритирку к действующей церкви построили пивной бар. Городские власти привязали его там в целях антирелигиозной пропаганды. Чем молиться, лучше, мол, напиток. Так эту пивную мужики, знаешь, как называли? «У Христа за пазухой». ...Ну, наострил я уши, слушаю.

— Виллу на четыре семьи грохают для самого высокого начальства. С зимним садом, сауной, бассейном. Биллиардная — размером с футбольное поле. Там плитка, паркет, сантехника, я думал, таких и в природе не существует — загляденье. Нужда, видно, заставила. А Дворец культуры семь лет строится, и конца не видно...

Вот такую информацию получил. Интересно, что строится? Темнят, уходят от ответа. Но не на того напали — узнал всю подноготную. Кто же, думаешь, в сем

архироскошнейшем тереме жить будет? Первый, председатель, генерал. Четвертого пока не определили. Усвоил?

Я, конечно, знал об этой стройке, но иронического наименования ее не слышал. Сам же факт меня как-то не удивил. Строят, значит, можно, значит, положено.

А Щеглов завелся:

— Это барство! В городе столько проблем с жильем, детскими садами, спортучреждениями. Что за срочное ударное строительство? Там, где эти привилегированные семьи сейчас проживают, крыши над ними протекают? Почитай почту корпункта, да что я говорю — почту своей газеты! О чем пишут люди? Действительно о наболевшем. Там многодетная семья до сих пор в бараке ютится, там крышу три года отремонтировать не могут, там вода выше третьего этажа не поднимается. А тут — дворец! Сад! Сауна! Голубая сантехника! Бассейн!.. Нет, это не по-коммунистически, не по-советски.

Он походил по комнате, резко ко мне повернулся.

— Тебе, старик, совет. Ты читаешь центральную прессу? Чувствуешь, какой задается тон на широчайшую гласность, на бескомпромиссность в оценке положения дел? Запомни, это от Центрального Комитета идет, это не игрушки. Делай выводы, позубастее надо быть газете...

И тут же снова вернулся к «вилле».

— Этого оставлять без внимания нельзя. Тут явно через край хватили.

Неистовый Вениамин чресла свои мечом перепоясывает. Но Калашников не Шредер.

НЮАНС

Сколько помню, сельскохозяйственное производство освещалось нашей прессой как никакая другая сфера человеческой деятельности. Когда и как пахать, что и в какие сроки сеять, как косить сено, убирать хлеб, выращи-

вать телят, откармливать бычков, доить коров, осеменять, оздоравливать скот, — обо всем этом и многом другом читатель узнавал из наших писаний, словно не пять тысяч лет назад люди все это умели делать, а лишь при социализме занялись возделыванием сельхозкультур и выращиванием домашних животных. Каких только поветрий на моей памяти не было! То на зябь наваливались, то травополье ликвидировали; кукурузу в королевское достоинство производили (перед окнами обкома в Светловодске в те поры не голубые ёлочки, а кукуруза произрастала), то раздельную уборку, то прямое комбайнирование во главу угла ставили.

Присмотреться со стороны — непостижимое творится. В недрах бесчисленных контор рождаются справки, рекомендации, инструкции. После надлежащего рассмотрения на бюро и исполкомах эти бумаги превращаются в директивные документы. На бланках с грифом «секретно», в засургученных конвертах люди в форме, с револьверами на поясах развозят их по конторам, в том числе и в редакции. Здесь мы подписываем их в свет.

Особое внимание всегда уделяется севу, заготовке кормов, уборке, зимовке скота. Эти сезонные работы по военному называются кампаниями. А на войне, как на войне: фронт, тыл, мобилизации, маневры, фланги, прорывы, броски и т. д.

Из года в год разрастается в сложную многоступенчатую систему мероприятий заготовка кормов. В её орбиту вовлекается такое количество работников партийного, советского, профсоюзного аппарата, прессы, которое наверняка значительно превосходит общее число тех, кто непосредственно косит сено. Где-то в конце мая обычно выступает с обращением ко всем труженикам сельского хозяйства о заготовке кормов в сжатые сроки и на высоком качественном уровне одна из областей. Эта честь предоставляется по заведенному порядку области, благополучнее других завершившей зимовку. Некоторое время

спустя один из районов (выбор определяется теми же соображениями) выступает с таким же обращением к работникам сельского хозяйства области. И то и другое обращения, в которых изложены и отнюдь не новые соображения о необходимости заготовки кормов, и вся технология их заготовки, публикуются в печати. Заседают бюро райкомов, обкома, исполкомы, проводятся совещания, раскаляются телефоны, летят телеграммы. В газетах становятся постоянными рубрики «О кормах как о хлебе», «Герои зеленой жатвы», «Корма — хозяйственную заботу», даются оперативные сводки, «экраны», Доски почета, острые сигналы. Машина эта крутится и крутится до самых белых мух.

Бывало немало звонков и писем в редакцию: по вашим публикациям все наизусть знают, когда и как косить, технологию изготовления сенажа, травяной муки, силоса, транспортировки, складирования, дрожжевания и многое другое. Неужели этого не знают те, кого вы все время учите, — руководители хозяйств, агрономы, бригадиры, скотники и т.д.? Почему вокруг рядовой сельскохозяйственной кампании столько шуму? Почему заготовка кормов — нечто чуть ли не героическое? А цемент выпускать, нефть перерабатывать, машины изготавливать, учить детей, лечить людей проще, что ли?.. Мы и сами такими вопросами не раз задавались, но нам говорили: так нужно. И мы привыкли.

Нынче тоже шли по отработанной схеме. В конце июля обком партии принял постановление об объявлении ударного месячника по заготовке кормов (такое постановление также принимается ежегодно). Газета опубликовала на первой странице подборку «Ударному месячнику — ударный труд», в которую вошли постановление и критическая статья «Травы просят в стога» о положении дел в одном из хозяйств. Когда вечером я подписывал полосы, была даже тайная мысль, что в обкоме завтра похвалят нас за такую оперативность и конкретность. Часов в

одиннадцать на другой день раздался звонок. Заведующий отделом сухо пригласил зайти к нему.

Наш Завьялов человек вообще неплохой, о газете печется. В одном только слаб: перед вышестоящим начальством с собственными суждениями возникать не склонен. Вид его в тот раз не предвещал ничего хорошего.

— Когда вы там в редакции научитесь думать? — сухо начал он, беря в руки свежий номер газеты. — Кто так делает? Мне Ахметов (секретарь, курирующий сельское хозяйство) разнос из-за вас учинил. Где это, мол, видано, чтобы в одном номере давать и постановление об ударном месячнике и критический материал помещать?

— А как надо? Какие существуют правила на сей счет? — съязвил я.

— Ну что вы о правилах, неужели вам нужно объяснять? Вы же знаете, комиссия ЦК республики работает как раз по проверке хода заготовки кормов. Вот вы им и обрисовали картину.

— Алексей Филиппович, — спросил я, — до разговора с Ахметовым вы были такого же мнения о номере? Честно говоря, я от вас ожидал даже похвалы. А вы... Мнение Ахметова стало уже и вашим мнением? Да что он понимает в газетном деле? Просто перед комиссией хочет выглядеть лучше, чем есть на самом деле. А вы вместе с ним готовы уже обвинить редактора во всех смертных грехах.

Завьялов слегка пристукнул ребром ладони по столу.

— Хватит! Не забывайте, где вы находитесь.

О, этот убийственно-неотразимый довод любого поставит на место. Сколько раз уже на веку приходилось слышать эти слова. И если их говорили даже негромко все равно раскаты грома слышались в них. Это ведь не случайно вырвавшаяся фраза. За ней система подавления нижестоящих — не смей свое суждение иметь, — избавляющая вышестоящих от сомнений в собственной непогрешности, от необходимости брать на себя ответственность, оберегающая их душевное спокойствие и хорошее

пищеварение. Нет, что-то мы проглядели в нашем партийном доме. Не сметь — значит быть довольным существующим положением вещей. Не сметь — значит, делать вид, что ты не замечаешь того, что тебя возмущает. Не сметь — значит, плыть по течению. А по течению, как известно, и дохлая рыба плавает. Сметь — это первейший долг каждого коммуниста.

Обо всем этом я подумал. Но не сказал. Не первый раз подминала меня неодолимая сила бюрократического высокоумия. Не сказал. А значит, грош цена моим мыслям. Когда же, когда вытравим мы в себе рабскую привычку держать фигу в кармане?

Меня хватило лишь на то, чтобы, проглотив обиду и возмущение, сказать Завьялову:

— Понял... Приказано считать сегодняшнюю подборку ошибкой редактора. Подчиняюсь. Но остаюсь при своем мнении: так и надо было делать, потому и объявлен ударный месячник, что заготовку кормов проваливаем.

Завьялов как-то искоса на меня глянул, хмыкнул что-то и на этом разговор наш был окончен. Кто проникнет в тайные мысли человека, застегнутого на все пуговицы, считающего своим долгом не сметь и другим не позволяющего сметь? Ведь все равно где-то глубоко-глубоко в душе у него есть собственное суждение. Уж не знаю, почему, показалось мне тогда, что Филиппович был солидарен со мной, а не с Ахметовым.

Прошла неделя.

На аппаратном совещании в обкоме Калашников огласил выводы комиссии ЦК о ходе заготовки кормов в области. Уже где-то в самом конце своего выступления он сказал: «Комиссия отметила активную роль прессы в этой важной кампании. В частности, очень хвалили статью «Травы просятся в стога». Очень своевременная и правильная статья».

Я исподтишка взглянул на Ахметова. Он сидел, не шелохнувшись, с привычно-волевым взглядом, устремлен-

ным в нечто такое, что видеть было дано только ему. Завьялов, наоборот, почему-то низко пригнул голову. Чтобы Ахметов не подметил торжества в его глазах?

После совещания я, конечно, зашел в отдел.

— Ну, с травмами, кажется, полная ясность, — с самым невинным видом сказал я.

И Филиппович, боже мой, неужели это он, наш железный шеф?.. — посветлел глазами, легкая, едва заметная улыбка тронула его губы.

— И поделом... Побольше бы вникал в дела своей отрасли. — Скороговоркой сказал, между прочим, без нажима. Дальше к душе своей он меня не пустил, тут же перешел на свой обычный деловой тон и выдал дюжину дежурных указаний. Значит, рассуждал я, как на крыльях, мчась в редакцию, это еще, конечно, не землетрясение. Но какой-то подземный сдвиг произошел. Или всего лишь буря в стакане воды? И все же, как говорит один заведующий отделом нашей редакции: «Нюанс, колоссальный нюанс!»

КОСТЯ КЕДРОВ

Было время, из писем романы составляли. Разделенные пространством адресаты подробно живописали друг другу о виденном и слышанном, делились своими радостями и печалью. А представим себе записанные на магнитную ленту наши телефонные разговоры с близкими и друзьями, состоящие из полуфраз: «Как жизнь?», «В общем, нормально», «Я тебя обнимаю» и всяческих междометий. Однако телефон нас устраивает, все более вытесняя эпистолярный жанр. Но если в ворохе газет, вынутых из почтового ящика, проглянет уголок конверта или открытки, кому не в радость эти знаки внимания?

С каждым годом все скуднее моя почта. Одни по давности лет забыли, другим стал не нужен. А от иных уже

никогда и никому не придут письма. Но есть у меня корреспондент, от которого вот уже сорок лет идут и идут письма, которому столько же лет, пишу и я. А дружбе нашей с Костей Кедровым уже все пятьдесят.

Неужели это было?.. Костя во главе авторитетной комиссии из первого «А» пришел проверять наш первый «Б». На следующий день я с группой не менее ответственных товарищей инспектировал первый «А». А со второго по десятый мы учились в одном классе.

Сначала, как водится, была скоротечная потасовка на перемене, бог знает из-за чего.

По дороге из школы я нагнал Костю. Увидев меня, тот решил, что предстоит драка, но с независимым видом шел своей дорогой.

— А я думал, ты жаловаться пойдешь, — сказал я.

— Что я, ябеда, что ли? — вызывающе ответил Костя.

Прошли молча еще немного. Я остановился (как сейчас, вижу эту картину) и предложил:

— Знаешь что? Давай будем дружить?

— А что? Давай! — не раздумывая ответил Костя.

Не знаю, откуда этот ритуал, но точно помню, я сорвал со своей головы шапку, бросил ее себе под ноги и торжественно, как клятву, сказал:

— Дружим на всю жизнь!

— На всю жизнь! — повторил Костя и тоже швырнул на землю свою шапку.

А это из иной эпохи.

Уже шел на экранах фильм «В шесть часов вечера после войны», уже пели «Хороша страна Болгария...», «В Германии, в Германии...». По ночам не спали десятиклассники от будораживших душу паровозных гудков, предчувствия дальних дорог, новой поры в жизни. Все в ту весну казалось возможным, осуществимым. Мы встретились с Костей у окошечка «До востребования». Обоим девушка подавала одинаковые конверты, подписанные одной и той же рукой.

— Привет тебе передает, — быстро пробежав глазами листок, исписанный девичьим почерком, буркнул я.

— И тебе тоже привет, — откликнулся Костя.

Девушка, которая нам нравилась, уехала в Киев. Оттуда и шли нам каждому и письма, и приветы. Мы посмотрели друг на друга и засмеялись. Вышли из здания почтамта — солнце ударило в глаза. Весна была в полном разгаре. На улицах грязь непролазная. Прохожие, прежде чем сделать шаг, долго выискивали, куда поставить ногу, или, наоборот, поднявшись, как балерины, на цыпочки, быстро пробегали опасные места; иные осторожно пробирались вдоль заборов. А солнце разбойничало в окошках и лужах, будто тысячи озорных мальчишек одновременно слепили солнечными зайчиками.

Двое мужчин — один длинный, сухопарый, другой коротышка, толстяк, — остановились в растерянности перед лужей, преградившей путь. Сухопарый разбежался и прыгнул.

— Давай, — махнул он рукой толстяку.

Тот нерешительно топтался на месте, крутил головой, выискивая обход. Но, видно, не нашел и решился последовать примеру своего спутника. Разбежавшись, смешно подпрыгнул вверх и с испуганным криком угодил прямо в середину лужи, взметнув во все стороны брызги и грязь.

Улица смеялась. Сколько вокруг ни видно было людей — все они, стоя в самых невероятных позах, кто балансируя на одной ноге, кто чуть не повиснув на заборе, кто сам вплюхавшись в грязь, — все хохотали над незадачливым прыгуном.

И так же, как эта картина весны, памятен и разговор, который произошел у нас по пути от почтамта.

— Ну, ты все еще не надумал, куда подашься учиться? — спросил Костя. — Я твердо и бесповоротно решил: Ленинград. Политехнический. Давай и ты на берега Невы, а?

Я помолчал. Строчка из письма (наверняка, была она

и в письме к Косте) — «думаю поступать в Киевский университет» — не выходила у меня из головы. И решение я уже принял. Но как сказать Косте? Не нарушу ли я давний наш договор на дружбу и честное соперничество?

— Нева река знаменитая, — решил я, наконец. — Но говорят, чуден и Днепр. Я, пожалуй, в Киев махну. В институт киноинженера. Как ты посмотришь на это?

— Один-ноль в твою пользу. Может и мне... Нет твоих ходов повторять не буду.

— Ты считаешь это нечестным с моей стороны?

Костя проявил великодушие.

— Нечестным назвать тебя не могу. А вот что везучий ты, черт, это да. У тебя право выбора, и ты выбрал. Завидую, но не сдаюсь.

И разошлись наши пути-дороги. А дружба осталась. Мы встречались все эти годы когда раз в несколько лет, бывало, по нескольку раз в год. А переписываемся с той самой поры, как разъехались после десятого класса. Костины письма приходили ко мне из Ленинграда, из Астрахани, из Красноярска, находили меня в Петропавловске, Киеве, в дальнем степном селе, в Алма-Ате, идут в Светловодск. Их в папках накопилось не одна сотня. В письме, которое пришло сегодня, Костя интересуется, как планируем провести отпуск, предлагает где-нибудь «состыковаться», «надо, старик, пообщаться, очистить души от накипи».

Он все тот же, мой неугомонный друг. Еще в школьные годы Костя был натурой деятельной и одержимой всяческими планами самоусовершенствования. В девятом классе я слыл чемпионом школы по шахматам. Костя засел за учебник Ласкера, проштудировал его и вызвал меня на матч. Я был повержен. В его письмах поры студенчества то и дело мелькали сообщения: «хожу в драмкружок», «занимаюсь греблей», «участвовал в лыжном агитпробегах». Это с его легкой руки ежегодно 7 ноября устраивались встречи у Медного всадника студентов из нашего города. Это он придумал ехать всем землячеством на каникулы в

одном вагоне. И такой вагон, набитый жизнерадостными студентами и студентками, пятеро суток шел по стальным магистралям, изумляя большие и малые станции неистощимой самодетельностью.

...В то лето в нашем городке был особенно большой наплыв студентов. Их сразу можно было заметить и отличить. Они ходили стайками, господствовали на стадионе, в парке, на пляже. Среди них были свои знаменитости. Костю знали все, и он знал всех. В один из жарких июльских дней мы отправились на речку. Там присоединился к нам Федя Иванов, тоже наш одноклассник, учившийся в московском институте. Накупавшись, лежали на песочке, лениво перебарывались словами. Костя начал расхваливать свой институт. А была у него с детства слабинка — слегка приврать, немножко прихвастнуть. В школьные годы не раз лавливали мы его на том и уличали с той безжалостностью, которая свойственна мальчишеской дружбе. Договорился он до того, что якобы зачислен в особую группу, которая работает по сверхсекретной программе, где, кроме специальных дисциплин, они изучают ориентировку на местности, разные системы оружия, самбо.

— Кого же это из вас готовят? — насмешливо спросил Федя. — Диверсантов, что ли?

— Нам сказали, нужно и все, — темнил Костя.

— А вот мы проверим, правда это или неправда, — многозначительно протянул Федя.

— Что это ты собираешься проверять? — насторожился Костя.

— Так говоришь, самбо вас обучают? — не унимался Федя. — А ну, вставай!

— Зачем?

— Вставай, объясню.

Костя, почуяв недоброе, не шевелился. Схватив Костю за руки, Федя рывком поднял его на ноги.

— Если ты изучал самбо, ты легко заставишь меня поверить в это. Защищайся!

— Не буду я с тобой связываться.

— Если не будешь, значит, никакого самбо ты и не нюхал, а все, что говорил здесь,— трепотня. Ну!..

Костя стоял неподвижно.

— Ты хочешь остаться нашим другом?— наседали на него Федя.

— Не нужны мне такие друзья!— вспылил Костя.

— Бросьте, ребята,— попытался я примирить их.

Костя молча и быстро оделся, не взглянув на нас, зашагал прочь. На другой день мы с Федей пошли к нему, чтобы объяснить и положить конец ссоре. Его дома не было. Мы обрыскали весь город, но не обнаружили Костю нигде. На следующий день повторилась та же история. А на третий, так и не встретившись с нами, Костя уехал в Ленинград. Вскоре пришло от него письмо. Да, признавал он, знаю за собой эту проклятую слабость, избавляюсь от нее, в этом помогают мне мои новые товарищи. Немножко посетовал на нас с Федей, но, в общем, покаялся, и я ответил ему дружеским письмом. И дружба, и переписки наши продолжались. Но Костя не был бы Костей, если б на том все и кончилось.

Через несколько лет мы снова встретились в родном городе. И снова, как в студенческие годы, пропадали на речке. И не было конца нашим разговорам.

И однажды...

— Брось, Костя,— сказал я ему в связи с какой-то его грубоватой шуткой в воде.— А то выйдем на берег, намою тебе морду.

— Выйдем, выйдем на берег,— миролюбиво сказал Костя.

Мы легли на горячий песок.

— Так вот,— вдруг тихо сказал Костя,— морды ты отмыл.

— Что, самбо?— подковырнул я его.

Костя лениво протянул руку к своему пиджаку, порылся в одном из его карманов и подал мне серенькую книжечку

Я развернул ее. Это был официальный документ, удостоверяющий о том, что Константину Кедрову присвоен первый разряд по борьбе самбо. Я несколько раз перечитал его, не веря своим глазам. Ай да Костя! Я ведь понимал, что первый разряд по самбо между делом и досугом не получишь, времени и пота немалых стоила эта скромная книжница.

— Усвоил?— спросил Костя. Жестко спросил.

— Усвоил... Надо же... Ну, молодец... Костя, учи меня, а?

Костя с удовольствием взялся меня учить. Боже, как я летал от него, какие дьявольские штуки он со мной проделывал. И об одном только все жалел, что Федя Иванова нет, ему-то он продемонстрировал бы свое мастерство с особым усердием.

КАК НАЖИВАЮТСЯ НЕДРУГИ

С Ахметовым у нас не сложились отношения давно.

Журналистские дороги как-то привели меня в Карасукский район. Редкостно урожайной выдалась тогда осень. Дороги в эту пору не утомительны. Раздольные, широко раскинувшиеся поля, неброские, но западающие в душу, затрагивающие в ней какие-то сокровенные струны пейзажи воистину золотой в тот год осени умягчали душу, настраивали на высокий лад. Страда! Я тогда впервые ощутил глубинный смысл этого слова: за выращенный хлеб надо пострадать. Преодолевать трудности, не считаться со временем и усталостью, превозмогать себя, отказывать себе во многом. В шесть часов утра планерка, в час ночи подведение итогов за день. Это в конторах. Комбайнеры на полях весь световой день. На токах, хлебоприемных пунктах, элеваторах работают круглосуточно, в три смены. Как-то довелось идти по автотрассе часа за два до рассвета. Встречные машины, слепя фарами, то и дело с гулом проносились мимо. Десятки, сотни машин, так что

глазам было больно от бесчисленных игол электрического света.

В сельских райкомах в эту пору работы неприворот. В том числе и чисто диспетчерской, которая нередко затягивает серетарей как зыбучие пески. Ахметов, работавший тогда первым секретарем райкома, мне кажется, не только не сопротивлялся этой стихии, а даже любил ее и именно в ней ощущал свою значительность, туманящую и не такие головы полноту власти. Уделив мне несколько минут своего времени, заполненного телефонными, на крике, разговорами, он познакомил меня с ходом уборки в районе.

— Пока в областной сводке идем первыми, — с заметным удовлетворением закончил он свой рассказ. — Думаю, удержимся на этих рубежах и впредь. Нелегко, конечно, дается. Тут у меня Прокофьев недавно выпрягся. Зеленая, понимаешь, у него кукуруза, надо подождать. А область ждет. Чуть не испортил мне сводку. Но я ему так дал, что он аж заболел.

Прокофьев был председателем колхоза «Победа» — самого крепкого хозяйства в районе, думающий, основательный руководитель. Мне стало обидно за него, и я имел неосторожность рассказать Ахметову старую байку.

— Да, это у нас бывает, — сказал я. — События развиваются по такой схеме. Звонок из республики в область: «Почему не приступили к жатве?» — «Зеленые еще хлеба». — «Идете на поводу отсталых настроений! Немедленно...». Звонок из области в район: «Почему не косите?» — «Зеленая еще пшеничка». — «Настроения у вас там зеленые. Немедленно...» Звонок из района в хозяйство: «Когда начинать уборку собираетесь?» — «Зеленые...» — «Сопли зелеными бывают, понял? Немедленно...» — Председатель колхоза или директор совхоза мчатся на полевой стан, хватают за грудки бригадира: «Почему не начинаешь?» — «Зеленые...» — Тра-та-та-та!.. — И загудели комбайны. — Так?

Ахметов насупился.

— Вашему брату, журналисту, все бы байки рассказывать. Тут не до шуток... Ну и куда же поедете?

— Поеду к Прокофьеву, — вдруг с каким-то скрытым вызовом ответил я. — Приложу к нему и свою руку...

В «Победу» я приехал уже поздним вечером. Прокофьев, усталый, запыленный, только что с полей, по рации разговаривал с бригадирами, иногда заметно повышая голос. Окончив переговоры, пояснил:

— Во второй бригаде более шестисот гектаров в валках. Пшеница подошла, а прогноз на дождь. Собираю в кулак технику со всего хозяйства. Завтра около тридцати комбайнов, десяток автомашин брошу на это поле.

Едва забрезжил рассвет, мы с Прокофьевым были на том поле. Технику за ночь уже стянули туда. Зарокотали моторы, поднялась над полем завеса пыли. Сумерки пали на землю, вечер перешел в ночь, а на колхозный ток с этого поля шло и шло зерно. Только картина стала еще более феерической. Сквозь сумрак ночи и клубы пыли гускло просвечивали сотни движущихся электрических глаз, комбайны миганием фар сигнализировали о заполнении бункеров, им, в свою очередь, отвечали светом трактора и автомашины, а пыль, окутавшая поле, от всех этих огней мерцала каким-то подобием северного сияния.

На другой день Прокофьев, взяв с меня клятву молчать, повез показывать плантации кукурузы. Накрапывал дождь, налетал порывами ветер, но почти не гнулась под ним стена вымахавшей выше человека кукурузы. Прокофьев выламывал из стеблей початки, брал на зуб налившиеся, уже начавшие желтеть, одно к одному калиброванные зерна.

— Вот! — ярился он. — Еще неделю назад давил на меня Ахметов: «Вали!» Ну как такую красавицу под нож отдавать? Она же еще силу набирает, соками наливается. Вали и все! Отчитался я. Поправил районную сводку. Взял грех на душу. А она, красавица, стоит и радуется.

И еще с недельку постоит. И будет у меня силос с початками. Это, знаешь, на сколько больше будет в нем кормовых единиц, по сравнению с тем, который получили бы мы, если бы скосили кукурузу, едва она к стадии молочно-восковой спелости подошла? То-то!

Как сейчас вижу эту картину. Стояли в степи под дождем двое с нечистой совестью: один, наврававший в районную сводку, другой, этому вранью потатчик. Кланялась кукуруза острыми зелеными пиками то ли взрастившей ее земле, то ли председателю, уберегшему ее в лихой час. Кого мы обманывали? От кого таились? Кому это было нужно?..

С того дня между Ахметовым и мной словно черная кошка пробежала. Вскоре он пошел на повышение, стал заведующим отделом сельского хозяйства обкома партии. Встречаясь, мы сухо с ним здоровались. Важности и самоуверенности у него поприбавилось. Как все преуспевающие недалекие люди, он считал серьезным делом лишь то, которым занимался он. Все остальные в его представлении занимались пустяками, а журналисты просто чем-то даже неблагодарным.

— Все бумагу изводим? — бросал он мне на ходу.

— Все руководим сельским хозяйством? — не оставался я в долгу.

А ему словно кто-то ворожил на этом поприще (поговаривают — есть у него «рука») — вот уже сколько лет он в кресле секретаря обкома. С этим его новым повышением меня он вовсе не стал удостаивать внимания. Его рекомендации по освещению тех или иных сельскохозяйственных кампаний передавались мне обычно через заведующего отделом сельского хозяйства, а реакция на публикации доходила вот таким рикшетом, как в недавней истории с ударным месячником. А окончательно крест на мне он поставил после такого случая.

Стоял лютый февраль. Зимовка шла трудно. Из приемной Ахметова позвонили, что он приглашает меня к

15 часам. В назначенное время я был у него.

— По согласованию с первым, — без всяких предисловий начал он, — во все районы выезжают представители обкома, чтобы на месте разобраться с ходом зимовки, оказать практическую помощь. Вы поедете в... — Он назвал отдаленный район, в котором, я знал об этом, зимовка шла особенно трудно.

Я не сразу понял свою задачу.

— Что-то написать необходимо?

— Вам бы только писать, — брезгливо усмехнулся он. — Не до писанины сейчас. Спасать скот надо. Надо побывать во всех хозяйствах, конкретно на месте во всем разобраться, принять самые чрезвычайные меры.

Я привык и считал необходимым уметь подчиняться. Но тут было нечто выходящее за возможности моего разума. Да еще хоть бы кто другой, только не Ахметов.

— Я не специалист сельского хозяйства.

— Специалист — не специалист, — не дал мне продолжить Ахметов. — Продовольственная программа — дело всенародное. Этот лозунг партии вы принимаете?

— Я уполномоченным не поеду, — сказал я, сжигая все мосты для отступления.

— То есть, как не поедете? У нас в партии, знаете ли, не принято своевольничать. Вы, наверное, погорячились. Избавьте меня от необходимости докладывать о вас первому. У меня все.

Он снял трубку одного из телефонов и стал набирать номер. Я вышел не попрощавшись.

— Не поеду, — твердил я себе. В этой акции я не участник. Будь что будет, не поеду.

Из обкома я пошел в редакцию. Кто-то меня окликнул. Я оглянулся и увидел Рудольфа Рудольфовича, известного в городе отоларинголога. В свое время я делал о нем очерк. Помнится, больше всего меня поразила коллекция Рудольфа Рудольфовича, по которой сразу было и не определить, кто ее владелец — то ли нумизмат, то ли

гелог, то ли антикар. На огромной витрине под стеклом монеты соседствовали со значками, значки с блестящими камушками, стеклянными шариками. Оказалось, все эти предметы хирург извлек из горла и пищевода пострадавших, главным образом детей.

Вот кто мне нужен! — озарило меня, как только я увидел Рудольфа Рудольфовича. У меня была запущенная болезнь среднего уха. Мне не раз предлагали лечь на операцию, пугая тем, что уши к мозгам близко. Рудольф Рудольфович однажды даже записал в моей карточке, что больной от предложенной операции отказался, и заставил меня подписаться в том, что я ознакомлен с записью.

— А я как раз к вам.

— Милости прошу, — широко улыбнулся Рудольф Рудольфович.

Любят хирурги тех, кого им рано или поздно предстоит резать. Это у них профессиональное. Мы дошли до больницы. Очереди к нему на прием не было, и я тут же зашел в его кабинет.

Рудольф Рудольфович нацепил на лоб рефлектор, покопался в моем ухе.

— Что скажете? — невинно спросил я.

— То же, что говорил не раз, — без улыбки ответил врач, — надо ложиться на операцию.

— А когда можно лечь? — спросил я.

— Хоть сегодня, — проворчал Рудольф Рудольфович.

— Хорошо, я согласен сегодня...

На другой день в десять утра меня уже начали оперировать.

Знаете, что представляет из себя операция среднего уха? Вас кладут на стол, прихватывают специальными приспособлениями руки и ноги, в рот заталкивают кляп, накрывают лицо простыней, делают за ухом обезболивающий укол. Вы слышите, как трещит вспарываемая кожа, но боли не ощущаете. Затем начинается самое главное. В черепе надо продолбить дырку примерно диаметра

грецкого ореха. Кость обезболиванию не поддается, поэтому всю процедуру вы должны просто вытерпеть, находясь в здравом уме и при ясной памяти. Операция длится полтора-два часа.

Неделю после операции я был почти без сознания, примерно столько же довольно тяжелым, а около трех месяцев вполне работоспособным, хотя и на постельном режиме. Спасибо Ахметову. Я вылечил запущенную болезнь уха, и теперь мне не грозят никакие абсцессы. Там же, в больнице, я закончил повесть, для работы над которой все никак не мог выкроить время. Но самое главное: я ему не подчинился. Сказал не поеду и не поехал. И не унизился до объяснений, оправданий, вышел из кабинета и привет. Иногда в жизни просто необыкновенно везет!..

Прочитал написанное и подумал: не слишком ли залихватски я все это изобразил? Конечно, дело прошлое, можно над Ахметовым и над собой посмеяться. А все-таки, почему я тогда открыто не восстал, не пошел к первому, не обратился в ЦК? Когда нас отучили пользоваться уставными правами коммуниста и почему мы так охотно предали эти права забвению? Не стоит кривить душой: потому что так удобнее жить. Ты не возникаешь перед вышестоящим, вышестоящий благосклонно на тебя взирает, и все идет само собой...

Сейчас мы многое осмысливаем заново. И прежде всего необходимо покончить с рабской угодливостью, с бездумным усердием, которое, как заметил еще Козьма Прутков, способно превозмочь разум, а как свидетельствует житейская практика — совесть тоже.

КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ

Костя Кедров задуманное надолго откладывать не стал. Не успел я ответить на его письмо, пришла телеграмма: Встречайте рейс Красноярска. И вот он уже вместе с женой

у нас в гостях. Кедровая ветка в вазе на моем столе.

Один такой, как Костя, гость стоит многих. Он и расспросить обо всем успевает, и о себе рассказать, просмотреть новые книги, выдать на кухне кулинарные советы, проконсультировать племянницу по филателии, а там, глядишь, теща, связавшая за свою жизнь неисчислимое множество носков, кофт, шалей, скатертей, с изумлением узнает от него неизвестный ей способ вязания. На моей памяти Костя был йогом, занимался голоданием, бегом, скалолазанием, системой академика Микулина. По узкой своей специальности он прочистит, заведует кафедрой, автор учебника, профессор, лауреат Государственной премии. Последнее его хобби — стихи. Только в стихах пишет он поздравления близким и друзьям к разным торжественным датам, а мне иной раз — и целые письма в стихах присылает.

Итожим прожитое. Жили — не жили? Все прицельнее бьет время по нашему квадрату, многих уже нет с нами.

Я поделился с Костей замыслом своей хроники, дал ему прочитать кое-что из написанного.

— Благославляю, — сказал он, отложив рукопись. — А пожелание одно: раз уж избрал такую форму, пиши без оглядки — издадут не издадут.

Походил по комнате, остановился передо мной и спросил:

— Ты веришь в апрельский ветер?

— Верю. А ты?

— Хочу верить, но боюсь. Вдруг просто очередная кампания? Сколько их было, вспомни. И сколько раз энергия общества направлялась на ложные цели. Помнишь, как несколько лет всем миром только и занимались, что обличали академика Марра в свете гениальных трудов по языкознанию? Потом генетику и кибернетику клеймили. Потом развернули борьбу против культа личности и его последствий. Что дальше-то было? Кроликов разводили, квадратно-гнездовой способ внедряли, травы выпалывали,

кукурузу повсеместно насаждали. Потом волюнтаризм осудили, войну стали переигрывать, ордена бесчисленные навешивать. Договорились, дописались до того, что у нас уже осталась только борьба хорошего с лучшим, ну, а то, что никак в эту схему не укладывалось, было, разумеется, лишь наследием проклятого прошлого. Говорение, величание, самодовольство, безудержное хвастовство и как итог всего — необходимость принимать продовольственную программу, застой в промышленности, протекционизм, взяточничество, бюрократизм. Я тысячу раз благодарил бога за то, что выбрал точную науку. Перед студентами во всеоружии своих знаний я — бог. А бедные преподаватели общественных наук... Они порой не знают, что и говорить студентам, на их вопросы ответить не могут. Студента нынешнего на мякине не проведешь. Результат — неуважение к предмету и преподавателю. Нет, я не сгущаю краски и не перечеркиваю всего, что сделано народом, чего достигло государство. В этом сила самого нашего строя. Но если мы и дальше будем врать себе, я не знаю, куда мы зайдем...

Больше всего было в наших разговорах, конечно, того, что начиналось словами: «А помнишь?..»

Да, история нашей первой любви имела долгое продолжение. Сначала все шло по классической схеме. Двое школьных друзей влюблены в сестру своего одноклассника. Между ними благородный договор на верную дружбу и честное соперничество. Донченки уезжают в Киев. Сюжет в такой же степени не новый, в какой и скоропребоящий. Но тонкая ниточка, на коей он держался, не оборвалась, как чаще всего бывает, а сделала новый виток. Я поехал учиться в Киев. Сила первого чувства Кости наверняка удесят�ерялась ревностью к счастливому сопернику, и он нашел способ неотступно быть третьим. Кажется, не было ни одной встречи с Наташей, чтобы она не сообщила мне:

— От Кости письмо пришло. Длиннющее-предлиннющее.

— О чем он ухитряется тебе столько писать?— с досадой спросил я как-то.

— Обо всем. О студенческой жизни, Ленинграде, прочитанных книжках.

Как все обернулось бы, неизвестно, но тяжело заболела мама, и я вынужден был уехать из Киева. От Ленинграда до Киева рукой подать, а из сибирских далей по тем временам ненароком на Днепр было не завернуть. Но у меня были шансы потягаться с Костей в почтовом романе. Как-никак мне, а не Косте, в средней школе № 1 имени В. И. Ленина прочили будущность писателя, мои, а не Костины, стихи кочевали по девичьим альбомам. Но тут и сказало, кто есть кто. Меня хватало на одно-два письма, «странные, но интересные», как оценивала их адресат, потом я остывал и даже не отвечал на письма Наташи. Костя же действовал с железной последовательностью.

После окончания учительского института я уехал работать в село. У меня начиналась взрослая жизнь; я все дальше уходил из юношеского любовного треугольника. Но и Костина любовь на расстоянии, казалось, едва тлела. У него и у нее складывалась своя жизнь, свое окружение, и сколько еще можно было поддерживать отношения только с помощью почты? Но не в его характере было не довести дело до конца. Слишком много отдано было этой любви-дружбе.

Сохранились его и ее письма той поры ко мне. Пожелтевшие уже тетрадные листы то в клетку, то в косую линейку, с его загибающимися книзу строками, с ее «бисерным», как раньше говорили, почерком.

Полистали мы их с Костей...

Посматривая на нас, когда мы добрались до старых писем, жены наши иронически переглянулись:

— Не ржавеет первая любовь?

— Смотри-ка, смотри-ка, на глазах помолодели!

А ведь и о женах слово молвить надо, иначе обид не

оберешься.

Учительствуя в селе, я заочно окончил педагогический институт. С новеньким дипломом, ничего не ведая о таинстве подбора и расстановки кадров, заявился в облоно с просьбой перевести меня в областной центр. То ли я чем-то приглянулся заведующему, то ли по причине острой еще в те годы нехватки дипломированных специалистов, меня с ходу взяли в штат облоно.

Мне шел двадцать третий год. Была у меня тогда самодельная записная книжка (блокноты еще считались роскошью). Я смастерил ее из плотных листов лощеной бумаги с призывами копить деньги в сберкассе. Этими плакатами меня снабжал двоюродный брат, работавший бухгалтером. За неимением денег я копил в этой самодельной книжке мудрые мысли. Среди всевозможных речений было в ней и такое: чем проклинать темноту, лучше зажечь одну маленькую свечку. Теперь уж не помню, кажется, это из Конфуция. В годы учительской работы в селе эти слова служили мне девизом: я не уроки давал, а каждый раз зажигал маленькую свечку. Теперь я становился учителем учителей. Назначение свое виделось мне теперь куда более светозарным, чем простое зажигание свечек. Вскоре отбыл я в первую командировку по проверке подготовки школ к началу нового учебного года.

Вернувшись из поездки, я написал пространную докладную записку. Не имея представления о том, как пишутся казенные бумаги, свои впечатления я изложил с обстоятельностью путешественника, открывшего новую страну. Бумага эта была первым моим произведением, отпечатанным на машинке, и один экземпляр ее сохранился.

В самом начале такая картинка о способе «путешествия» «В глубинку выехал на «Романе Романовиче»— так звали старого гнедого районовского мерина, запряженного в легкий ходок с плетеным кузовком.

— Конь выносливый, старый служака. С довоенным еще наробразовским стажем,— охарактеризовал его заве-

дующий районо.— Въедете в село, никого не спрашивайте, прямо к школе или квартире директора подвезет.

Инспектирование одной из школ живописуется так:

«У длинного приземистого здания, огороженного штакетником из кривых березовых тесин, «Роман Романович» остановился. Пока я привязывал его к изгороди, по двору энергичной походкой шел мужчина в сапогах, галифе и гимнастерке, перетянутой тонким ремешком.

— По Роману Романовичу вижу, что какое-то начальство прибыло,— заговорил он, ощупывая меня настороженным взглядом.

Я представился.

Мы вошли во двор. Школа была побелена, промытые окна весело поблескивали на солнце.

В узком коридоре бросился в глаза свеженаписанный лозунг: «Не считайте ученье за свое мученье!»

— Простите, этот лозунг... где вы его взяли?— спросил я.

Директор замялся.

— Я точно не помню, чье это высказывание.

— И что же, по-вашему, такой лозунг воодушевит учеников на постижение бездны премудрости?

Директор с опаской на меня посмотрел.

— Вы считаете — снять? Сегодня же дам команду.

Пошли смотреть классы. Впереди шествовала дородная смуглая с черными усами женщина — техничка, открывавшая перед нами двери. В классных комнатах на выбеленных стенах наведены панели черного цвета.

— С панелями у нас маленькая неувязочка вышла...

Оказалось, директору удалось где-то раздобыть бочку олифы, а краски достать не смог. Вот он, по чьему-то совету, и развел в олифе сажу.

— А можно их забелить?

— Ни,— ответила техничка басом.— Не можно.

— Что ж, так и в зиму оставите?

— Та ни... шо цэ за школа будэ? Тырнэтся дитя

коло стины и полизе як чертяка из трубы...»

Я не поленился выписать и привести в докладной несколько копий приказов, подписанных директором и даже ужин описал!

Такое повествование-докладную и преподнес я заведующему. Позже я узнал, что, читая мой опус, он хохотал один, потом пригласил заместителя, и они веселились вдвоем. Но диалог о панелях был-таки использован заведующим в докладе на областном совещании директоров школ.

Я довольно быстро овладел впоследствии техникой составления служебных бумаг, но слава «бойкого пера» с тех пор за мной закрепилась. Вернувшись как-то из поездки по области, заведующий вручил мне ученическую тетрадь, исписанную от начала до конца красивым женским почерком. Это был акт проверки школы, как явствовало из подписи, инспектором школ Пролетарского районо Е. И. Шаровой.

— Прорецензируйте. И пожестче.

Я перелистал акт. Да, жидковато, наивно. Представил себе эту Е. И. Шарову — всю жизнь поди протрубила в наробразе, а ничему не научилась. И я засел за работу. Под моим пером рядовой канцелярский документ превратился в образец формализма в инспектировании.

Какое-то время спустя я выехал в Пролетарский район с бригадой инспекторов «для фронтальной проверки состояния народного образования в районе», как значилось в приказе. В те небогатые тряпьем годы народ еще донашивал военное обмундирование. Даже женщины ухитрялись сооружать модные пальто из военного сукна, а обыкновенные ватники так затейливо выстрачивали, что выглядели они даже элегантно. А уж молодой человек, одетый, как я, в синие диагональные галифе, в защитного цвета китель со стоячим воротником, застегивающимся на два крючка, в светло-зеленую офицерскую шинель, с подбитыми ватой плечами и грудью, в кирзовые сапоги, да еще в

сухой комсоставской фуражке выглядел просто как из журнала мод. А самое главное: экипировка эта вполне соответствовала моему представлению о себе как представителем комсостава.

Прогромыхав по коридору своими кирзами, вошел я в кабинет заведующего районо. Встретил он меня сдержанно и даже, как показалось, со скрытой неприязнью. Мы обговаривали план работы бригады, когда дверь в кабинет открылась.

— Познакомьтесь, — сухо сказал заведующий. — Елена Ивановна, наш школьный инспектор. — А это, — он кивнул в мою сторону, — тот самый автор известной вам рецензии.

В красном вельветовом платье с белым кружевным воротничком вокруг шеи передо мной стояла девушка. Из-под черных бархатных бровей несли в меня сердитый взгляд.

— Вот вы какой, — с гримаской пренебрежения сказала она. — А я думала, уж такой умный, такой всезнающий, что вам сто лет, не меньше.

— Я тоже думал, — заикнулся было я.

Взмахом стрелчатых ресниц я был как бы отставлен в сторону. Инспектриса что-то сказала заведующему он ответил ей, и она исчезла.

Заведующий мстительно пояснил мне:

— Елена Ивановна нынешняя выпускница Учительского института. Кое-как уговорил в районо: плакала два дня, хотела в школу. Потом согласилась. Тот акт проверки, над которым вы так изощрались, первый в ее жизни. Неделю ревела после вашей рецензии, заявление об увольнении подала. Кое-как забылось дело, а теперь вот вас самого нелегкая принесла. Доконаете мне девчонку. Дам вам транспорт, уезжайте с богом.

Но не зря же я числил себя в комсоставе. И я показал, что способен на быстрые решения и смелый маневр.

— Елену Ивановну включаю в нашу бригаду, — заявил я непререкаемо.

Это была незабываемая поездка. И прекрасные глаза юной инспектрисы все чаще стали встречаться с моими, неотступно устремленными на нее все эти дни, а кончилось дело тем, что мы уже и вовсе не могли отвести глаз друг от друга.

Жена уже родила мне сына, когда пришло это письмо от Кости.

«Ты знаешь всю историю моих взаимоотношений с Наткой. Но и ты многого не знаешь. Чего, например, стоили мне многочисленные рейды в Киев. Я досрочно сдавал экзамены, зарабатывал на пристанях и вокзалах, прорывался в Киев «зайцем», товарняками, попадал в немыслимые истории. Она всегда встречала меня хорошо. Мне не нравились ее подруги и ее друзья. Пока я там был — они не любили и побаивались меня — Наташа подчинялась моему влиянию. Я уезжал, они вступали в свои права. Письма ее начинали дышать холодом. Как я мучился тогда! Я готов был бросить учебу, общественную работу, спорт — все! — и сломя голову мчаться к ней. Спасибо друзьям, не дали сорваться. А немного спустя получал от нее ласковые письма и снова ходил шальной от счастья. Так продолжалось три года. Не раз я предлагал ей оформить брак, но она лукавила, я, дескать, должна еще посмотреть, лучший ли ты из всех поклонников. Они у нее, конечно, были! В том числе, в резерве числился, наверное, и ты. Она ведь говорила, что ты долго еще писал письма, которыми она зачитывалась. Знаю, друг мой, что ты по этой части мастак: сужу по тем немногим письмам, которыми ты удостаивал меня, когда снисходило на тебя вдохновение. Эх, да что об этом! И вот однажды, словно издеваясь надо мной, она написала, что весело проводит время, что у нее много знакомых мальчиков... И я понял, что навсегда попал в разряд этих самых мальчиков. Я написал резкое письмо. Она холодно попросила меня не беспокоить ее письмами и впредь писать только в тех случаях, если в моей жизни произойдет что-то

важное. И тогда я понял, сердцем понял, умом я уже давно это понимал, что надо ставить точку. Я сказал себе: если любовь стала бременем, надо найти мужество отказаться от нее. Я взял себя в руки и посмотрел вокруг. И много нового и хорошего увидел. И в частности — одну чудесную девушку. Не буду рассказывать сейчас о ней. Только не подумай, что я от отчаянья, очертя голову. Нет!..

И вот когда мы с Шурой обо всем договорились (кстати, всю эту историю она знает), я отправил Натке коротенькую записку. Ты, мол, просила писать тебе только в том случае, когда и т. д. Сообщаю, что такого-то состоится моя свадьба... В бесчисленных письмах к ней я подписывался: твой Константин, всегда твой Константин, вечно твой Константин. А тут думал-думал и подписался: «Не твой Константин». И что ты думаешь? Через два дня пришла срочная телеграмма: «Умоляю, не делай этого, приезжай ко мне». Я ничего не ответил ей. А когда мы с Шурой пришли из ЗАГСа, меня ожидала «Молния» такого же содержания. Поняла ли она, что натворила, или жалко стало игрушку, которую у нее отобрали, не знаю. Пусть будет она счастлива. Я зла ей не помню. Хоть и несчастливо закончилась моя любовь к ней, многое она дала мне, и я за это всегда буду благодарен Натке...»

Три дня пролетели незаметно. Уехали Костя с Шурой. Хватит о былом.

ОМРАЧЕННЫЕ НОВОСЕЛЬЯ

Статья Щеглова «Новоселья в «сиротских домах» грянула неожиданно и оглушительно. Газета была нарасхват, толки шли неостановимые.

... В убыточном совхозе, где из-за нехватки жилья было неблагополучно с кадрами, директор и секретарь парткома вселились в особняки со встроенными гаражами.

Директор горнорудного комбината построил для себя двухэтажные хоромы. Взрывами отвоевали у скалы площадку в добрый гектар, обвели ее бетонной стеной и засыпали плодородной почвой. Бывший заведующий отделом обкома получил партийное взыскание за злоупотребления при распределении квартир и... стал первым секретарем горкома. Управляющему строительным трестом безнаказанно сходят с рук злоупотребления служебным положением — и не мудрено: сыновья, дочери, зятья, снохи и другие близкие и дальние родственники ответственных работников областного центра получили квартиры за счет треста. В заключение автор спрашивал: не потому ли обком и облисполком так снисходительны к проявлениям барской психологии иных руководителей, что и первый секретарь, и председатель сами проявили нескромность, вселившись в особняк, получивший в народе язвительное название «сиротского дома», в то время как планы жилищного строительства в области выполняются неудовлетворительно?

Скандал в благородном семействе получился неслыханный. В обкоме все пребывали в каком-то шоке, ходили чуть ли не на цыпочках. Какотреагирует на беспрецедентную ситуацию первый? — этот вопрос занимал всех, но пророком никто быть не осмеливался.

На очередном бюро я невольно особенно внимательно всматривался в лица тех, кто был назван в статье поименно, но ничего нового в них не открыл. И само заседание шло заведенными порядком. Слушался живо интересовавший меня вопрос — о строительстве жилья и объектов соцкультбыта на Каражарском топливно-энергетическом комплексе. Так получилось, что я считаю себя лично причастным к строительству комплекса.

... Десять лет уже минуло, а было это будто вчера. Мы стояли у края котлована, на дне которого монтажники в оранжевых касках устанавливали бетонные фундаменты под энергоблоки ГРЭС.

— Будет на этом месте гигантская красавица-станция, — сказал управляющий трестом «Каражарэнергострой» Евгений Анисимович Филимонов.

— На мраморной доске с именами первостроителей помянете хоть одного из журналистов? Вместе с вами и первый колышек забивали, и грязь месим, и на студенном ветру стнем, — сказал я.

— Конечно, не забудем, — заверил управляющий.

На месте того котлована — действующая ГРЭС, на счетчиках которой уже не одна сотня миллиардов киловатт-часов. Заметно прибавилось седины у Евгения Анисимовича, да и автор этих строк «уж не тот». О мемориальной доске как-то забыли. И не мудрено: строится ГРЭС-2, линии электропередач, подстанции. За эти годы сделано в Каражаре немало не только по энергетической части комплекса. Вышли на проектную мощность новые угольные разрезы. Вырос в степи город почти со 150-тысячным населением. А стройке и конца не видно. Каражарцы говорят: у нас немало построено, многое строится, еще больше запроектировано. Такая это стройка.

Я написал о стройке документальную книгу. С явным, как понимаю теперь, переизбытком эпитетов в превосходной степени и восклицательных знаков. Но поначалу верилось, что все будет так, как выглядело в проекте, как декларировалось в правительственном постановлении о создании комплекса. Не обойден Каражар вниманием центральной прессы. Журналисты сработали. Стройка обрела имя, а имя стало работать на стройку. Желающих приехать в Каражар было больше, чем он мог принять.

Но с первых шагов строительства обозначилось и с каждым годом стало нарастать несоответствие масштабов комплекса и более чем скромных шагов в строительстве города. Жилищное строительство было ориентировано на привозные конструкции домов. При всесоюзной географии поставок строители нередко оказывались в роли потерпевших кораблекрушение: кругом вода, а напиться нечего.

«Кубами» Каражар иной раз обеспечивали даже в избытке, в ассортименте же конструкций царил невообразимый хаос. Монтаж дома то нельзя было начать из-за отсутствия деталей цоколя, то нельзя завершить из-за нехватки стеновых перегородок и перекрытий. Но самая большая беда, конечно, в политике Минэнерго и Минугля СССР, главных хозяев Каражара: производственные объекты — в первую очередь, план — любой ценой. А в итоге — громадная текучесть кадров, десятки тысяч людей, ежегодно командированных в Каражар, что не только государству в копейку влетало, но и создавало на стройке атмосферу спешки, выполнения объемов за счет качества. И какими нравственными потерями молодежного города оборачивалось, какими слезами эксплуатационников отливало!

Зная все это, чувствую себя в большом долгу перед людьми, строящими комплекс. Это мы, журналисты, «заманили» их сюда масштабами стройки, возможностью проявить себя, и, не в последнюю очередь, перспективами жить в «городе XXI века». А что получилось на деле? Вот почему вопрос, поставленный в повестку дня бюро, так живо интересовал меня.

Первым отчитался генеральный директор объединения «Каражаруголь» Гуженко. Давно уже возглавляет он угольный гигант, депутат, лауреат, герой, знает цену и себе и представляемому им предприятию. Его делом было «давать стране уголек», и он давал его, не считаясь с трудностями, ежедневно решая тысячи всевозможных производственных неурядиц. Он и докладывал по привычке о внедрении новой угледобывающей техники, новых форм организации труда, выполнении и перевыполнении планов добычи. Где-то уже в заключительной части отчета мимоходом отметил: «Соцкультбыт у нас заметно отстает, но в объединении разработана программа жилищного, бытового и культурного строительства на двенадцатую пятилетку, и острота вопроса будет поэтапно сниматься».

Ему вопросов почти не задавали, и он с достоинством

сошел с трибуны. Управляющий трестом «Каражарэнерго-строй» Филимонов выглядел за трибуной не столь внушительно и начал с того, что отпускаемые на строительство жилья и соцкультбыта средства из года в год не осваиваются, под угрозой срыва и план текущего года. Потом привычно перечислил причины: острый дефицит рабочих рук, текучесть кадров строителей, напряженность с выполнением пусковых производственных объектов.

Жаль мне его было: десять лет, не зная покоя ни днем ни ночью, тянул он громадную стройку, высох и поседел, а вечно в битых ходит. Бывало, в конференц-зале горкома партии под председательством секретаря обкома, курировавшего строительство, заседала областная комиссия, решая вопросы о мерах по ускорению ввода жилья, детских садов, больниц, магазинов и прочее, а в это же время в штабе стройки под председательством представителя Минэнерго определяли, какие бригады снять с жилого микрорайона и бросить на ликвидацию очередного прорыва на строительство станции.

— Здесь рекомендуют, там приказывают, — с горечью пожаловался как-то Филимонов. — Кругом я виноват.

Многие годы наблюдая стройку, я не раз задавался вопросом: чем можно объяснить устойчивое пренебрежение руководителей Минэнерго к условиям, в которых живут строители? Не припомню случая, чтобы посланцы министерства по прибытии шли, скажем, в общежитие, в рабочую столовую, в магазин или больницу, нет, из аэропорта к энергоблоку, к дымовой трубе, к котловану. Неужели, думал я, это идет еще с тех времен, когда по нашей бедности действительно надо было строить в первую очередь заводы, шахты, карьеры, мирясь с тем, что люди живут в бараках, откладывая «на потом» жилье, магазины, столовые, стадионы, парки и фонтаны.

Много раз видел в деле одного из министерских деятелей — Аксонова. И долгое время вместе со многими заблуждался на его счет. По прибытии на стройку он

ежедневно проводил «планерки на ногах» — обход пусковых объектов в сопровождении главных специалистов треста. Филимонов в этих ситуациях значил не больше прораба. Орлиным взором окидывал Аксонов строительную площадку, быстро определял ее «болевые точки» и тут же принимал решения: — Свяжитесь с Ижевском... Переговорите с Ленинградом... Вызвать асов из Киева... Без свердловчан здесь не обойтись...

Вся свита почтительно созерцала этого всемогущего мага и волшебника. А он на публику работать умел. Там байку расскажет, там соленое словцо бросит, там, похлопав по плечу бригадира или монтажника, закурит сигарету из его пачки, вспомнит, как вместе с ним пускали ГРЭС в Сибири, на Дальнем Востоке. «Пускач», «Мастодонт», «Зубр» почтительно величали его за глаза. И лишь однажды довелось услышать, как Филимонов тихо сказал главному инженеру: «Когда уже черт унесет этого горлопана»? А я, наблюдая его, рассуждал примерно так. Конечно, плохо, что он совершенно безразличен к тому, как живут люди. Он — технократ до мозга костей, фанатик дела, олицетворяет собой энергию созидания. Службу милосердия, видимо, надо исполнять другим.

Однажды за ужином в каражарской гостинице довелось услышать его откровения.

— На нас, строителях, держава стоит. Все на земле нашими руками построено. И потому строители — люди особой школы, высокой закалки. Надо ведь не только уметь строить, но и фронт работ обеспечить любой ценой. Наряды закрывать — тоже не простое дело, смекалка нужна. Но особый талант нужен, когда дело к пуску идет. Тут сумей шилом бриться, из топора кашу сварить, из сита напиток. Вы замечали, что лучше всех с трибуны выступают строители? Иной и грамотешки не ахти какой, а выйдет, только слушай. А почему? Когда сдается объект, какие словесные баталии происходят!.. Там иной раз черное за белое выдавать надо, на один аргумент ответить десятью,

глазом не моргнуть, в чем угодно заверить. Вот там и проходят школу ораторского искусства. И кто ее прошел — в воде не утонет, в огне не сгорит...

Выслушав этот хвастливый монолог, я, помнится, заметил, что не очень уж и положительно выглядит питомец такой школы и услышал в ответ нержавеющее: «Хочешь жить — умеи вертеться...» А недавно в одной из центральных газет прочитал фельетон, героем которого оказался сей руководитель. Пользуясь своим высоким служебным положением, преуспел он, оказывается, в самых темных махинациях с автомашинами, квартирами, дачами и взятками. И тогда только окончательно упала пелена с моих глаз (и только ли с моих?). Какое ему было дело до того, как живут, питаются, отдыхают рабочие? Пустить блок, линию, подстанцию, отрапортовать, доложить начальству, вписать еще одну победу в свой актив незаменного работника и на этой волне жить для себя, хапать, тащить в собственную нору — вот что было истинной его натурой, а вся видимая деятельность — показуха, работа на наивных и доверчивых людей. Лопнул, распротраня зловоние, кумир простаков, любимец начальства. Стерлась позолота, осталась свиная кожа.

Но вернемся к бюро. Филимонову было задано немало вопросов, отвечая на которые он все больше и больше «сыпался». Подводя итоги обсуждения, первый жестко сказал:

— Вы тут все на производственные программы, на Минэнерго ссылались. Мы поможем вам. Объясним вам сегодня строгий выговор, а вы идите к своему министру и хоть умрите на пороге его кабинета, а программу жилья и соцкультбыта обеспечьте. Мы не позволим вам и дальше проявлять преступно-халатное отношение к нуждам трудящихся.

Как-то Филимонов в разговоре сказал, что всякая большая стройка переживает четыре этапа: шумихи, неразберихи, наказания невиновных и награждения непри-

частных.

— Кажется, грядет третий этап,— подумал я. Не мог я не думать и о парадоксальности этого бюро: в неблагоприятных делах именно в этой социальной сфере, за которую держали ответ здесь Гуженко и Филимонов, замешаны были и первый и некоторые члены бюро. Непросто было им (да и возможно ли было?) в оценках положения дел в Каражаре быть искренними и до конца честными. Но со всей остротой этот вопрос встал перед ними, конечно, при обсуждении самой газетной статьи.

Докладывал первый. С одной лишь оговоркой — строительство особняка на четыре квартиры было санкционировано высшими партийными инстанциями — он внес предложение признать факты, изложенные в статье, соответствующими действительности. Помолчав, не глядя в зал (как непривычно было видеть его таким!), продолжил:

— Мы тут предварительно советовались. Есть предложение поручить финансово-хозяйственному отделу в недельный срок подготовить соответствующие квартиры для переселения четырех семей. Освободившийся четырехквартирный дом передать... тут еще посоветуемся, есть несколько предложений.

И только после этого он нашел в себе силы поднять глаза. Лицо его обрело привычную твердость. Дальше речь шла о других. Предлагалось выселить из особняков и незаконно полученных квартир всех упомянутых в статье, каждому определялась и мера взыскания: выговор, строгий выговор с занесением.

— Будут ли другие суждения? Замечания? Предложения?.. Принимаем постановление.

Нелегко ему дались эти минуты под затаенно-внимательными взглядами присутствующих в зале.

— Бюро окончено, все свободны,— устало сказал он. Ответ обкома вскоре был опубликован.

Сильно кое-кому омрачил новоселье Щеглов. Но и ему

подпортили торжество победы. Особняк передали не под детское или оздоровительное учреждение (под которое он так и просился: на берегу реки, в лесопарковой зоне), а под... партийный архив.

— Понимаешь, старик, — желчно комментировал Щеглов. — Тонко разыграли эндшпиль. Отдать под детский сад или отделение какой-нибудь гостиницы, слишком много людей увидели бы, из каких хором выкурили начальство. Тайна сия великая есть, как говаривали монахи. А в партийный архив вхожи немногие. Занавес опустился. И мне возникать снова уже нельзя, тут меня легко обвинить в чем угодно. Главное-то, мол, сделано, критика признана правильной. Меры приняты, а уж куда определить особняк, обкому виднее. Ничего не скажешь — гроссмейстерская игра.

ОХОТА

— Слушай, старик, а ведь меня секут на каждом шагу, буквально на каждом шагу, — пожаловался Щеглов.

— Как — секут? — не понял я.

— Всеми способами. На телефоне явно кто-то висит. Почта приходит с большими задержками. Некоторых моих корреспондентов вызывали для отеческих внушений. На квартиру то и дело наведываются всякие домоуправы, контролеры. То жена на балконе что-то вывесила — нарушаю, то за услуги вовремя не оплатил — строгое предупреждение. Звонят, снимаю трубку, слышу, дышит кто-то. Алло! Ни слова. Посопит так, посопит и ту-ту-ту-ту!

— А не мерещится тебе все это? — усомнился я.

— Черта с два, я не псих, нервы у меня железные. Секут, точно тебе говорю. Видно, кому-то очень хочется заиметь на меня компроматы. Вот и обложили меня.

— Значит, берегись.

— А чего мне бояться? Водку я не пью, по бабам не

шляюсь, взяток не беру. Но все равно — неприятно. И главное, это ж противозаконно. Они дошутятся! Но бог с ними. В субботу открытие охоты, не составишь компанию?

Я отказался.

На охоте Щеглова и «засекли».

В его изложении дело было так. В пятницу после обеда он уехал на дальнее степное озеро. Вечером оборудовал в камышах скрадок. На утренней зорьке взял влет двух уток и тут услышал резкие автомобильные гудки — сигналили как раз оттуда, где он оставил машину. Выйдя из камышей, увидел рядом со своими красными «Жигулями» зеленый «УАЗ» и трех незнакомцев. Они представились общественными инспекторами. Один из них показал удостоверение и попросил предъявить охотничий билет и путевку на право охоты на озере. Щеглов предъявил и то и другое.

— Откройте багажник, — сказали ему.

Щеглов повернул ключ, нажал кнопку, багажник раскрылся.

— Я глазам своим, старик, не поверил. Десятка два уток, несколько тушек сурков аккуратно так были уложены в багажнике и еще какая-то мешковина под них подстелена. «Откуда это здесь взялось?» — спрашиваю. «Вам лучше знать, — ухмыляются. — Наше дело акт составить». Забрали у меня ружье, охотничий билет, составили акт. Я читать и подписывать его отказался. Они сели в машину и укатили. Вот так, старик, сделали меня.

— Что же теперь будет? Ты там права не качал? Не ругался? Не грозил?

— Ругался и грозил, что это им так не пройдет.

— Что же думаешь предпринять?

— Был у начальника областной охотинспекции, написал заявление. Он говорит, к нему акт еще не поступил. Позвонил по вертушке первому. Тот и слушать не стал. Поверьте, мол, у него много дел поважнее. Не виноваты,

значит, ничего вам и не будет. Я никакого давления на инспекцию оказывать не стану. Правила одни для всех.

Нехорошая заваривалась история. И даже значительно хуже, чем казалось поначалу. Из материалов, поступивших в областную охотинспекцию, явствовало, что задержанный с поличным Щеглов был в средней степени опьянения, пытался оказать инспекторам сопротивление, грозил всех «пропечатать в газете». Раскручивалось дело о браконьерстве с быстротой необыкновенной. Копия акта ушла в редакцию. Щеглов получил извещение с приглашением явиться к следователю для дачи показаний по возбужденному против него делу. С него взяли подписку о невыезде.

Сценарий детектива разыгрывался, как по нотам. Следователь не мудрствовал лукаво: есть акт, свидетели, доказательства, вина очевидна, дело передать в суд.

Щеглов слетал в Москву.

— Я поклялся всем дорогим для меня, — возбужденно рассказывал он по возвращении, — что это провокация, явная месть. Уверен, в обиду меня не дадут.

Дело получило широкую огласку. Удивительно даже было, как много людей почему-то в деталях знали о том, что произошло на далеком степном озере. Знали, как вскоре убедился Щеглов, и в других областях, закрепленных за ним.

— С такой репутацией, старик, мне здесь делать нечего, — вздыхал он. — Что-то Москва не торопится. Грустно и обидно. Стреножили скакуна. Но коленопреклоненным они меня не увидят. Не такие слабые у меня зубы, чтобы я об кашу их сломал. И дело с особняками получит продолжение. Ведь тот ответ, который дал в газету обком, одна видимость, серьезных выводов не сделано.

Он еще бодрился, но явно начинал сдавать: осунулся, посерел, курил беспрерывно. Жена по секрету рассказывала: мечется по ночам, кричит во сне, часами просиживает за столом, исписывает горы бумаг, перечитывает и с ожесто-

чением рвет их.

Минут за десять до начала очередного областного партийно-хозяйственного актива Щеглов подошел ко мне.

— Если я с тобой рядом сяду, не будешь, старик, возражать? — криво как-то усмехнувшись, спросил.

— Что это ты такой сверхвежливый? — поиронизировал я.

— Ну, знаешь. Я ведь теперь вроде зачумленного. Сидеть рядом со мной — значит, ясно заявить, на какой стороне баррикады находишься.

— Ну уж ты загнул.

— Ничего не загнул. Перестройка — это борьба, а не сюсюканье. А в борьбе возможны и поражения, и неудачи, и потери.

Актив шел заведенным порядком. Ни в докладе, с которым выступил первый, ни в выступлениях не ощущалось новизны подхода к проблемам, привычными были они и по форме.

Сколько высижено на всякого рода совещаниях и заседаниях, расходясь с которых никто не испытывал ничего, кроме сонной одури.

После всяких заседаний
Нам ни радость, ни печаль.
Нам в грядущем нет желаний
И прошедшего не жаль.

Не знаю, кто сочинил эту пародию, но уж очень она точно отражает суть многих наших «сидений», которые в последние годы приобрели чисто ритуальный характер. Эта ритуальность задавалась с самого начала процедурой выдвижения почетного президиума «в составе и во главе». Предложение это возглашалось с трибуны с большим пафосом и непременно «фортиссимо» на имени-отчестве и фамилии. Одобрение предложения выражалось вставанием и продолжительными аплодисментами. Таким образом сразу задавался тон той декламации, упражнением в которой и было все дальнейшее.

На этот раз почетный президиум не выдвигали, но в остальном все было, как прежде. Мы словно играем в какую-то добровольно-принудительную игру.

— Слово предоставляется...

Очередной оратор начинает заунывную аллилуйшину, переходит к «определенной работе», жонглируя разного рода показателями.

Именно — жонглируя. Если уродил хлеб, то благодаря хорошо организованной работе, если не уродил — из-за неблагоприятных погодных условий. Сколько убаюкивали мы себя темпами роста по сравнению с тринадцатым годом, каждую новую пятилетку умилялись достижениями по сравнению с предыдущей.

Выросло... увеличилось... За счет чего? Может быть, за счет ввода новых мощностей, которые строились всю предыдущую пятилетку и недешево обошлись? В районе выросли поставки молока... Оказывается: рост достигнут за счет увеличения закупа у населения. Хорошо, что в личных хозяйствах не держат буренок, дающих молока чуть больше козы, больных и яловых, но в первую очередь надо заботиться все-таки о том, чтобы неуклонно повышать продуктивность общественного стада. А то ведь уже не раз бывало и так, что в актив района записывалась и продукция, не произведенная, а закупленная в соседнем районе.

Мысль на таких собраниях отключается. Никто на них не работает, все только присутствуют. Но вот выступать тому, кто дремал или острил по поводу предыдущего оратора. Правила игры требуют достойно представить свой коллектив и лично не хуже других выглядеть. Звучат очередные фразы-вездеходы, подкрепляемые толпой цифр и фамилий. Остается одобрить выступление самокритикой по образцу строчки из популярной песни: если где-то кое-кто у нас порой, — и бодро заверить. В результате все выступили как все. Чем в большем ранге пребывает руководитель, тем меньше он обременяет себя

подготовкой к докладу или выступлению. Общие места, обязательный набор фраз готовят канцелярские работники, которых становится все больше и больше. Докладывать, выступать, не отрываясь от бумаги, стало общепринятым. В ходу анекдоты о некоем начальнике, прочитавшем подряд четыре отпечатанных экземпляра выступления, о другом, еще более высокого ранга, на стук в дверь заглядывавшем в лежащую на столе бумажку, чтобы ответить: «Войдите!» Это наш застарелый недуг, коим мы не в первый раз болеем. Когда же мы преодолеем его, когда, наконец, будет просто стыдно играть в такую игру?

— А ты выступи в своей газете против нее, — посоветовал Щеглов. — Знаешь, что говорил Маркс? У него есть такая мысль: человечество расстается со своим прошлым, смеясь. Вот и надо язвить это обрыдшее красноречие.

Он подсказал интересную мысль. Я действительно вскоре написал статью на эту тему. Но с этого только начался разговор.

— Ты меня извини, старик, — продолжал Щеглов, — но хочу сказать прямо: беззубая еще у тебя газета. Из трех газет моего региона, а я внимательно слежу за всеми, на подъеме сейчас, пожалуй, только «Огни» Лыкова, твоя в серединке, и совсем никудышная у Алексея Мони́на. Я ему говорил.

И тут Щеглов разразился монологом в адрес Мони́на.

— Хочешь, говорю ему, полной ясности? Слушай тогда. Журналист, который не участвует в борьбе за перестройку, не кто иной, как предатель. Да! Что говорит нам партия? Если мы не сделаем рывок, нас сомнут. А что означает сладкоголосое пение твоей газеты? Во-первых, оно помогает утверждаться областному руководству в иллюзии, будто дела у него в области идут нормально. А они ох как далеки от благополучия! Во-вторых, читатели думают: все разговоры о перестройке — пустая болтовня, как было, так и останется. Я говорил, заметь, старик, не раз говорил Алексею. Партия дала тебе острейшее оружие, а ты забил его песком,

в огороде им у себя на даче ковыряешься. Боком тебе все это выйдет. Когда идет драка, тем, кто под ногами путается, поддают с обеих сторон...

Я слушал и не мог не понимать, что Монин у него лишь предлог, а целит-то он в меня.

КУДА СМОТРЕТЬ РЕДАКТОРУ?

В журналистике я уже тридцать лет. И не понаслышке знаю, как непросто бывает отстаивать собственную позицию. Дело в том, что принцип партийности журналистики слишком часто отождествляется у нас с казенным оптимизмом. Сколько раз доводилось слышать в порядке предостережения: «Народ нас не поймет». Страшная фраза. Некто, сидящий в руководящем кресле, отвечающий за положение дел в районе, области, отрасли, единолично решает, что доступно, что недоступно пониманию народа, чего можно, чего нельзя касаться прессе.

Опубликовали мы разговор за «круглым столом». Участвовали в нем секретари парткомов и руководители предприятий. Была там высказана мысль и о том, что от настоящего партийного работника, хозяйственника нередко требуется немалое гражданское мужество, чтобы отстаивать свои позиции. В тот же день, когда газета вышла, раздался руководящий звонок.

— Какое и от кого в наше время может требоваться гражданское мужество? Партия определила задачи, народ их выполняет. С кем собираются бороться газета и участники круглого стола?

Очень неуютно становится после такого звонка. Действительно, начинаешь думать, какое мужество, зачем оно, когда и т. д. Выходит, в разрез с линией партии иду? Но... Припомнился тот же Прокофьев, один из лучших председателей колхоза, о котором говорили: весь в орденах и выговорах, — и многие другие факты, не укладывающиеся

и предложенную схему. И тут же всплывает в памяти другая сентенция: факты, конечно, имеют место, но не надо обобщать. О, это тоже многозначительная формула!

«Городового, номер бляхи такой-то, критиковать можно, а институт городских нельзя, ибо это будет уже потрясением основ», — трактовал Салтыков-Щедрин. Стоп! Не кощунствую ли я? Великий сатирик жил совсем в другую эпоху и механически переносить его оценки в наше время...

В начале шестидесятых годов работал я главным редактором студии телевидения. Секретарем обкома, курирующим идеологию, была у нас Грачева. По звонку я спешно явился в ее кабинет, где уже сидели редакторы областных газет. Не успел и дверь за собой закрыть, как Грачева обрушилась на меня: — Что у вас там творится на студии? Во вчерашней передаче...

Да, во вчерашней программе было аж два прокола. Выступавший в «Панораме» актер назвал кого-то лауреатом Сталинской, а не Государственной премии, как следовало. А в «Новостях» крупным планом показали комбайн с четко прочитываемым названием «Сталинец». А еще шла кампания по «ликвидации культа личности и его последствий».

Мне бы повиниться и заверить, и вопрос был бы исчерпан. Но я сгоряча (да и по молодости) брякнул:

— Прямо по Щедрину получается: то коснешься чего-нибудь, а касаться нельзя, то не коснешься чего-нибудь, а касаться не только можно, но и должно! Недавно еще без Сталина...

Грачева властно остановила меня:

— Не знаю, как там по Щедрину, я его не читала, а с нашей точки зрения...

— И напрасно не читали, — выпалил я. — А вот Ленин более трехсот раз цитировал Щедрина и советовал партийным и советским работникам читать и перечитывать его!

Не нашлась тогда Грачева, как поставить меня на место, но впоследствии у нее было достаточно случаев для реванша.

Все в мире сто раз изменилось, только бюрократизм, с которым так яростно боролся Щедрин, от которого неоднократно предостерегал Ленин, оказался цепким, как репейник, живучим и многоликим. Не потому ли, что громко заявленное: «Нам нужны Гоголи и Щедрины», было втихомолку продолжено: но такие Гоголи, чтобы нас не трогали, и такие Щедрины, чтобы были к нам нежны?.. Достает нас Михаил Евграфович и сейчас, смотрят на нас с портрета его скорбные глаза, укоряют. И не надо бояться читать и перечитывать этого «страшного» писателя.

... Еще статья в редакционном портфеле, а в телефонной трубке уже рокошет чей-нибудь увещающий голос: время ли поднимать такие вопросы, стоит ли вокруг этого создавать нездоровый ажиотаж? Не успеет, как говорится, типографская краска на газете просохнуть, как в ход идут новые аргументы: так ли у нас плохо, как расписала газета, вряд ли это на пользу дела.

Велик счет и нашим, журналистским долгам. О многом не сумели мы сказать во весь голос, многому потворствовали, многое умалчивали. Пожалуй, больше всего мы повинны в поспешности, с которой принимали на веру всяческие бодрые заверения и своими корреспонденциями немало поспособствовали утверждению, мягко говоря, оптимистического взгляда на положение дел. В любом районе, области, отрасли всегда найдется повод для бодрой корреспонденции «Вступил в строй», «Поставлен под нагрузку», «Ударными темпами» и т. д. Давно уже сказано: никогда не было, чтобы чего-нибудь да не было. Хорош этот способ изображения — в перечислении того, что сделано при умолчании о том, что не сделано и о качестве сделанного. Чем больший отрезок времени взять, тем внушительнее будет картина. И, главное, все, о чем при этом говорится, в самом деле «имело место», и, следовательно, правда истинная. Единственный его изъян в том, что говорится не вся правда. Затасканные журналистские стереотипы кочуют по страницам газет, звучат по радио,

мельтеят на экранах. И не приходится удивляться, что умный читатель, слушатель, зритель порой потешается над такой продукцией.

В разгаре уборка урожая. В поле прибывает телевидение. Кинооператор осматривается, прикидывает, как снять сюжет. Механизатор, сойдя с комбайна, здороваются и с ходу предлагает:

— Давайте так. Мы с парторгом пройдем вот здесь, а вы снимайте оттуда. Потом мы сорвем колосья, разотрем их в ладонях. Ну, а потом проезд комбайна и лады!

Кинооператору ничего не остается, как только технически осуществить «задумку» механизатора-режиссера.

Бригада монтажников в простое. Бригадир не в духе. Подошедший некстати журналист выуживает у него интервью. Следуют стереотипные вопросы и не менее стереотипные ответы. Вдруг бригадир взрывается:

— Скажи, друг, а не скучно тебе так работать? Вроде детской игры получается: черно-с белым не берите, да и нет не говорите. Я наизусть знаю, какие ты задашь вопросы, ты наизусть знаешь, что отвечу я... Вот сейчас ты спросишь, что позвало ребят в дорогу? Я, по правилам игры, должен ответить: в дорогу ребят позвала романтика. А ведь все гораздо сложнее. Неинтересно же так.

Согласимся с бригадиром, неинтересно так, а главное — этот штамп, эта безликость никому ничего не дают. А чего стоит эта давняя наша практика: не успели еще выйти из печати те или иные партийные или правительственные документы, как в следующем номере должны иметь место надлежащие отклики на них? Такая «оперативность» культивирует бездумность и заданность, ведет к девальвации не только слова, но и дела. Этот тот же вредный штамп, как долгое время кочевавшее клише: рабочие у станков обсуждают материалы, опубликованные в газете. За станками надо работать, а не газеты читать. Серьезные материалы требуют не скороспелых откликов в виде предложений с восклицательными знаками, а серьезного изучения и

ответственных выводов.

Попадают среди журналистов люди, склонные к сенсации, к сгущению красок, к бездоказательным, но амбициозным выступлениям, и просто ленивые и безответственные. С ними всегда, как на бочке с порохом. А вранье в газете — в критических ли, в хвалебных ли материалах — трудно поправимое зло. В первом случае — это очернительство, во втором — идеологическая приписка. Не позавидуешь газете и жалко выглядит редактор, когда на сенсационный хлесткий материал, вызвавший действительно нездоровый ажиотаж, приходит убедительное опровержение. Винись, газета, выкручивайся, редактор. Как правило, публично, нередко — с серьезными последствиями. Менее болезненны издержки славословия. Работает пословица о каше, которую маслом не испортить. А все же иной раз и такую кашу приходится расхлебывать. Опубликовали мы как-то очерк об аппаратчице одного из заводов. Хвалебный. Героине очерка радоваться бы и гордиться. А она — в слезы, заявление об увольнении подала. Вот народ!.. Да, народ, он такой. Не верит ни в розовую бесконфликтность, ни в жития святых. Бунтуют даже те, с кого мы такие портреты пишем.

Перестройка, все увереннее заявляющая о себе гласность требуют от прессы нового качества. Щеглов в своем экстремизме несколько преувеличивает: не такая уж ручная наша газета. Мы стали смелее и правдивее. Но не так все просто, как может показаться.

МНИМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ

Константин Кедров вновь просится в мою хронику. Любопытное пришло от него письмо.

«... Выстрел в квартире раздался в воскресенье после обеда. Вернувшаяся из магазина жена застала мужа в ванной комнате уже мертвым. Выстрел в упор из охотничьего ружья в ключья разнес сердце.

Николай Крапивников был моим соседом. В свободные вечера, случалось, подолгу засиживались с ним за шахматной доской. Он ушел из жизни и у него теперь нет проблем. Они остались нам, живым. Уже месяц минул со дня его похорон, а я все не могу прийти в себя. Знаю по опыту, что лучший способ избавиться от такого рода беспокойства — выговориться. Вот и решил написать это письмо.

Отец Николая Крапивникова в свое время был у нас генеральным директором крупного производственного объединения, потом его забрали в Москву на большую должность в союзное министерство. Мне приходилось встречаться с ним на работе. Подавляюще самоуверенный человек. Покойный был единственным сыном в семье Крапивниковых. Окончив горный институт, Николай ни дня не проработал по специальности. Отец определил его на комсомольскую работу. Сначала инструктор, потом заведующий отделом обкома комсомола, последние годы — освобожденный секретарь комитета комсомола. По натуре был замкнутым, немногословным, не любил быть на виду, терялся перед аудиторией, робел перед начальством. Не раз слышал от него:

— Мне бы в каком-нибудь НИИ, в лаборатории работать, а не комсомол возглавлять.

— Кто же тебе мешает? — спрашивал я.

— Батя. Спит и во сне видит, что я повторяю его судьбу. Задался целью сделать мне карьеру, ведет, как поводырь слепого. Это по его раскладке я прошел то, что прошел, а сейчас на пересидке, для анкеты, в нынешнем моем качестве пребываю.

— Восстань, плюнь, делай то, что нравится, — советовал я.

— Разве его переспоришь? — вздыхал Николай. — Сделаю из тебя человека! В его представлении быть человеком — это быть начальником. Чем выше шагнешь, тем легче якобы жить. В общем, как он любит говорить, хорошо быть генералом.

Предприятие, где работал Николай, многие годы числилось в отстающих. Но все шло заведенным порядком без особенных неприятностей для руководства. А тут начались эти новые веяния. Строже стал спрос. Активизировалась рабочая молодежь. Резко покритиковали его на одном из цеховых собраний. С критической статьей о стиле работы комитета комсомола выступила наша молодежная газета. Николай ходил убитый. Совсем уже решил уйти. Но тут явился отец.

— Брось хандрить. Все перемелется. И ветры улягутся. Не впервой. Потерпи немного. Всмотрел я тебе великолепную должность.

Только он уехал, комиссия пожаловала. Выводы комиссия сделала суровые: не справляется, не обладает необходимыми качествами. В воскресенье грохнул выстрел...

Бесконечно жаль молодого, полного сил, очень неглупого, честного парня. И не могу отмахнуться от тревожных мыслей. Это уже не просто поветрие, явлением стало — обеспечивать своим детям облегченный вариант продвижения вверх. Сколько их сейчас таких, которые не строят, а лишь пристроены, кого называют в народе этим ублюдочным словом «отцедети».

Хорошо быть генералом... Эта нехитрая формула подразумевает: высокая должность гарантирует не только хороший оклад и другие материальные блага, но и вообще приятную жизнь. Ты никому не обязан, обязаны только тебе; ты недосыгаем для критики, критиковать можешь лишь ты; тебе нигде ни в чем не откажут, а ты делаешь одолжение лишь тому, кто тебе нужен; тебе не надо ничего знать и ничего делать самому: заместители, помощники, референты сформулируют твоё мнение по любому вопросу, подготовят справки, напишут доклад, выступление; ты не будешь, как простой смертный, ездить в автобусе или трамвае, ходить в магазин, машина подойдет к подъезду твоего дома, дефицит доставят тебе на квартиру.

Именно такое представление о сладкой генеральской

жизни стало распространенным. Стать начальником! Об этом мечтают для своих отпрысков маститые родители и сами эти отпрыски, от младенчества вкушающие из неиссякаемого рога жизненных благ и удобств. А что проповедуют иные наши книги и фильмы, конфликт коих в том и заключается, что положительный герой, одержав победу, увенчивается повышением в должности? Конечно, это плохие книги, плохие фильмы, и я вспомнил о них лишь потому, что они по-своему отражают процессы, происходящие в жизни. И вот в Азербайджане несколько лет назад принимается решение запретить должностным лицам строить дачи, приобретать автомобили, защищать диссертации для получения ученых степеней. (Об этом как-то сообщалось в «Литературной газете»). Но стоп! Что у нас получается? Принимая такое решение, не ставим ли мы знак равенства между понятиями «руководитель» и, помягче сказать, «махинатор»? Мы, выходит, боремся с принятым за обычай, ставшим нормой злоупотреблением руководителей служебным положением, т. е. со следствием, а не с причиной. Бороться, как мне думается, надо с самой возможностью появления на руководящей работе людей, склонных к такого рода «деятельности». Или я наивен? Может быть, это просто в природе человека? Петр I как-то во гневе сказал: если кто из сенаторов украдет на стоимость веревки, на той веревке его и повесят. Один из его приближенных заметил, что царь рискует остаться без придворных. Наполеон, достигнув вершины своего величия, в период континентальной блокады Англии беспощадно вешал и расстреливал казнокрадов и контрабандистов. Но только они, по замечанию Тарле, усмехались, когда при них Наполеона называли «непобедимым».

Но ведь известно немало примеров величайшего подвигничества и бескорыстия всякого ранга руководителей в годы революции и гражданской войны, на всех этапах строительства социализма, в наши дни. Где же мы просмотрели, что упустили, если в нашем обществе стали открыто

оценивать людей по их «связям»?

Раньше говорили: у него блат, устроился по блату, достал по блату. И был в этих словах оттенок презрения, брезгливости. Сейчас говорят: у него — связи. Скажите, пожалуйста, как это благородно, аристократично, похвально — связи. Блатом пользовались втихую, не афишировали его. О связях говорят открыто, ими гордятся, людей со связями опасаются.

Да, у генерала, если уж продолжать пользоваться этим словом для обозначения понятия высокой должности, большая власть, большие права. Генералом быть почетно. Но и страшно трудно! Он должен лучше всех знать дело, которому служит; он обязан, не щадя себя, не считаясь со временем, неотступно отдаваться этому делу, строже всех спрашивать с себя, он несет громадную личную ответственность, словом, генеральские лампы обязывают к беззаветному служению, к подвижничеству. А прав у таких людей, если разобраться, во многих смыслах меньше, чем у простых смертных. Они не имеют права спокойно спать, права на отдых по вечерам, права на два выходных в неделю. У них — вечный бой! И государство, определяя им высокую зарплату и освобождая от многих житейских забот, не остается внакладе. Так должно обстоять дело с «генералами». И тогда не будет у нас мнимых величин, которых ох как много поразвелось. И радикальное средство против них, кажется, наконец, найдено: гласность! Она нужна нам как воздух, она излечит нас от многих застарелых недугов. Широкая гласность — надежный контроль народа. А он все знает и захребетников чистокон веков не любит».

Щеглов, ознакомившись с письмом, «завелся»:

— Мнимые величины! Слушай, молодец твой Костя. Именно по ним надо сосредоточить сейчас огонь. Парадность, пустословие, приписки, очковтирательство — это же одежды, в которые эти самые величины рядятся. Ученые степени без учености их обладателей, почетные звания, ордена без малейших заслуг их носителей — сколь-

ко такого укоренилось в жизни! А вот такой тебе факт для размышлений. Поехал я недавно к вашим соседям. Было у меня задание взять интервью у первого секретаря обкома. Принял он меня, ознакомился с вопросами, хорошо, говорит, отделы получают задания, ответы на ваши вопросы подготовят. И смотрит на меня выжидательно. Откланялся я. Ну, через несколько дней ответы мне дали. Справки, цифирь. Ни одного живого слова в них. Я звоню первому: так, мол, и так, материалы не устраивают, хотелось бы выслушать по ряду вопросов лично ваши соображения. А он — времени не имею, уж как-нибудь сами. Позвонил в редакцию. Отказываюсь, говорю, брать интервью у невидимки. Понимаешь, что за этим стоит? Человек не владеет обстановкой, отвык говорить от себя. Словом, мнимая величина. Есть даже такая байка. Написали такому вот руководителю «его» статью. Принесли на подпись. А у него в кабинете гость из столицы. Глянул он на бумаги и пожаловался гостю: «Столько работы, столько работы, понимаешь, свою статью прочитать некогда!..»

— Мне в жизни не раз доводилось писать за таких невидимок. Так называемый автор обычно лишь визирует материал, то есть дает великодушное согласие на публикацию.

— А гонорар? — спросил Щеглов.

— Да разве дело в деньгах, — отмахнулся я. — Не такие это суммы, чтобы о них говорить.

— Нет, подожди, — вцепился в меня Щеглов. — А с каких пор стало не стыдным не только публиковать за своей подписью написанный другим материал, но и получать за это деньги? Суммы тут не имеют значения! Если можно это, значит можно вступить в соавторство на открытие, изобретение, которые ты и не нюхал, поручить кому-то написать за себя брошюру, книгу, диссертацию, словом, жить за счет ума и энергии других. Честность — штука беспощадная. Либо ты честен, либо нечестен. Если честен, чужих мыслей, чужих идей, чужих слов тебе не

надо, обойдешься собственными. Чужие деньги, пусть это копейки будут, не возьмешь, предложение взять их — оскорбит тебя. И потерять честность легче легкого. Поленился поработать сам, а случай выступить со статьей упускать нельзя, не принято, не хочется — пусть напишет кто-то. Вот уже поступился своим добрым именем. Не отдал гонорар тому, кто писал, — уже ты утверждаешь обыденность факта получения вознаграждения не за труд, а за положение. Это уже скольжение по наклонной. Это один из способов создания мнимых величин. Заниматься своим делом, говорить то, что знаешь, оставаться самим собой — это же элементарная порядочность!

О многом еще переговорили мы в связи с Костиным письмом...

ДА ВЕРШИТСЯ

Из Москвы приехали двое: следователь по особо важным делам и специальный корреспондент «Рабочей газеты».

Через неделю на стол первого легла записка, в которой убедительно излагалось, что уголовное дело на собственного корреспондента В. Щеглова от начала до конца инспирировано. Подстроил все с помощью своих родственников и «верных» людей директор горнорудного комбината, выселенный из двухэтажного особняка после выступления газеты. Следовательно в ходе дознания допущены грубые нарушения процессуально-уголовного кодекса, свидетельствующие о его служебном несоответствии. Не вызывает сомнения и причастность к задержанию В. Щеглова якобы при уличающих его обстоятельствах начальника областной охотинспекции. Именно он, пользуясь служебной информацией, «навел» нештатных охотинспекторов на В. Щеглова. Как выяснилось, начальник охотинспекции — свояк управляющего строительным трестом Шредера.

— Все творилось, конечно, без ведома первого, — ком-

ментировал Щеглов. — Но несомненно и то, что весть о моих злодеяниях он принял с явным удовольствием. А теперь оказался в пренеприятнейшем положении. Правда восторжествовала. Но не вся. Я счета сводить не собираюсь, да мне и не позволили бы, но разговор о тех, кого по существу обком прикрыл, будет продолжен. Я ведь, пока на меня охотились, не сидел сложа руки.

Он не бросал слов на ветер. Вскоре была опубликована его новая статья «Из кресла в кресло».

Напомнив читателям предыдущие выступления газеты и ответ Калашникова, автор приводил внушительный перечень фамилий тех, кто за злоупотребления отделался лишь легким испугом, а то и в гору пошел. Директор совхоза освободил особняк, но зато получил повышение в должности — стал начальником облкомхоза. Его фамилией перечень лишь начинался. Чуть ли не все «пострадавшие» не менее безболезненно пересели из одного руководящего кресла в другое. Автор усматривал в этом вызов требованиям времени, утверждавшемуся в стране курсу на подлинный повсеместный порядок. Статья была написана сдержанно, но логика приведенных в ней фактов говорила сама за себя. Скандальную славу приобретала область.

Сам Калашников с виду не изменился, но чего это ему стоило? Мне не раз приходило на ум: такая область на плечах, столько тревог и забот, за все отвечать, а тут еще эти скандальные публикации, огласка на всю страну.

Щеглов, выслушав мои сердобольные соображения, насупись, заходил по комнате. Я знал эту его привычку. Сейчас выдаст!.. И он «выдал»:

— Жалостливый какой!.. Бедный-несчастный Калашников. Не такой уж он и бедный! И эти его кадровые игры — не просто ошибки или просчеты. Тут суть в другом. Руководители, так или иначе скомпрометировавшие себя, они ведь в глубине души понимают, что остаются на плаву уже не по праву, а милостью Калашникова. И никогда нигде не возникнут, не возразят, не скажут вслух собствен-

ное мнение. А Калашников, делая такие жесты, оберегает собственный покой. Он ведь тоже про себя знает, что все эти, у которых рыльца в пушку, облагодетельствованные, а значит, лично преданные ему, удобные для него люди. Что, не так?

— Но неужели так?

— Я провел недавно небольшое социологическое исследование состава областных руководящих работников. Что получается? По пятнадцать-двадцать лет возглавляют разные предприятия, учреждения, ведомства одни и те же люди. Многие из них систематически заваливают порученное им дело или еле-еле тащат его, а сидят. Что случилось? Свет на них клином сошелся? Или исчерпаны в народе резервы людей грамотных, энергичных, честных? А то и случилось. Из года в год воздвигался забор, ограждавший их от малейшей критики, расцветали вседозволенность, круговая порука, барство, чванство. Страшно еще и то, что эта вот, как сказать — каста, что ли? Она не только себе пожизненные привилегии обеспечивает, а еще способна и к расширенному самовоспроизводству. Вспомни, о чем писал тебе твой друг Костя, сын министра должен стать министром, или, как он там сформулировал, хоть и мнимой, но величиной?

Не Щеглов, а возмутитель спокойствия. От мыслей не отмахнуться.

Вышли мы все из народа... Ведь это обо всех наших руководителях можно сказать, никто из них не получил должность по праву рождения или в откуп. Народ им, своим сыновьям, дал власть и права: служите, пекусь о благе общем. А иные из сыновей так возлюбили себя, что начисто забыли, кому всем обязаны. Все более высокой стеной отгораживаются от народа, все совершенствуют бюрократическую машину. Подобно жрецам, начинают выдавать свои дела за некое таинство, недоступное пониманию простых смертных. Уже немислимо представить их обещающими не в особых залах, а в общей столовой, идущими

пешком по городу или селу, едущими в трамвае, стоящими в очереди в магазине. Уже и дома, в которых они живут, строятся в тихих благоустроенных районах и по особым проектам, и браки их дети заключают чаще всего не выходя за элитарный круг.

Пришло время очищения и властно спрашивает с каждого, достоин ли он доверия народа. Роптать не на кого: тот, кто все дал, вправде всего и лишит. Перестройка во многом сродни революции, а революция всегда до конца обнажает, кто есть кто. Да вершится, она, благословенная!..

С первых шагов нынешней отчетно-выборной кампании центральные газеты стали публиковать материалы, остро вскрывающие формализм, заорганизованность, парадность и пустословие в партийной работе. Поначалу такие публикации воспринимались как откровение, с некоторыми даже сомнениями — да можно ли так открыто говорить обо всем, что до сих пор считалось «святая святых», тайной за семью печатями? Оказалось — можно, и именно на такую откровенность ориентирует коммунистов ЦК партии.

Мы у себя в редакции провели инструктаж, составили график публикаций по отчетам и выборам. И вот читаю первый, второй, третий материалы. И ничего-то в них свежего, острого, по-новому высвечивающего коренные вопросы партийной работы. Состоялось... с докладом выступил... определенные успехи... серьезные недостатки... намечены меры.

Одного решения дерзать оказалось недостаточно, надо еще хотеть и уметь дерзать. Годами, десятилетиями складывавшийся стереотип не отпускал, мы разучились писать искренне, закомплексовались на штампах.

Чтобы написать рецензию на спектакль, гласит журналистский фольклор, достаточно знать сорок слов: роль, ампула, мизансцена и тому подобное. В материалах на темы партийной жизни преобладали окаменевшие от времени обороты: идя навстречу... воодушевленные решениями... претворяя в жизнь... с чувством глубокого удовлетворения.

И вдруг этот родник, питавший серость, заданность, безмыслие и гарантировавший стопроцентную проходимость материалов, иссяк. А новый требовалось каждому самому искать. Словом, не блеснула наша газета материалами под рубрикой «Отчеты и выборы в партийных организациях». А тут подкатали районные и городские конференции. Снова был разговор в редакции. Расписали, кто какую конференцию освещает. В один из районов поехал и я.

Конференция шла еще в привычном русле. Была критика сверху, а выступающие говорили каждый о своем хозяйстве, предприятии, бригаде, аппелировали к будущему составу райкома с различными просьбами. Критика в адрес бюро, его секретарей, отделов выглядела так, словно кто-то заранее все расписал и незримо дирижировал. Не без труда, но удалось выяснить, что так оно и было в действительности: со всеми выступающими в орготделе состоялись беседы, где им кое-что порекомендовали.

Механизатор одного из совхозов простодушно сказал.

— Иваницкий, заворготделом, мне говорит: ты, мол, когда будешь о соревновании говорить, назови первого секретаря, ему, мол, надо поглубже вникать в организацию этого дела. Я говорю, зачем мне это, потом первый когда-нибудь припомнит. Нет, говорит Иваницкий, он сам просит, ему надо, чтобы простой механизатор покритиковал его на конференции.

Все это я и выложил в отчете. В тот же день, как отчет вышел в газете, меня пригласили к Калашникову.

Поздоровался он со мной подчеркнуто сухо. Газета с моей корреспонденцией лежала у него на столе. Он пододвинул ее к себе, остро взглянул на меня из-под очков.

Десятый год работаю я редактором областной газеты, органа обкома партии, газета не на плохом счету. Но, странное дело, со стороны первого к газете и лично ко мне ощущается постоянно какая-то настороженность, если не сказать неприязнь. Со временем я понял, что дело вовсе не

во мне, будь на моем месте другой, ничего не изменилось бы. Суть была в ином — в самом отношении к газете, к гласности.

— Гласность — гласностью, — досадливо поморщился Калашников. — Но и она не панацея от всех бед. Есть объективные трудности. Критика снизу пока еще дело новое. Вот вы осуждаете орготдел за дирижерство. А знаете, что без этого дирижерства, может быть, и вовсе не было бы критики в адрес бюро райкома? И как бы мы выглядели? И зачем, ну, скажем так, кухню внутрипартийной работы отдавать на всеобщее обозрение? Вот мы в обкоме уже вплотную приступили к подготовке областной конференции. Что ж вы думаете, на самотек ее пустим? Приходится думать о дозировке критики в докладе и в будущих выступлениях. Без определенной предварительной работы с делегатами, которым намечается предоставить слово, не обойтись.

— Но разве это не будет той заорганизованностью, которая теперь осуждается? В центральных газетах...

— Центральные газеты, очевидно, имеют установки, — согласился Калашников. — Это — большая политика. Давайте соразмерять масштабы и корректировать методы. Острее критикуйте хозяйственные неурядицы, сферу обслуживания. Что же касается стиля работы партийных комитетов, персонально первых секретарей райкомов, давайте не будем их дергать. Здесь надо взвешивать каждое слово.

— Как же в дальнейшем освещать конференции? — спросил я.

— Ну, редактировать газету за вас никто не будет, — подвел Калашников итог разговору. — Делайте надлежащие выводы.

Вот такая состоялась беседа. Неисповедимы еще пути твои, перестройка.

Представляю, какую внутреннюю борьбу выдержал Калашников, прежде чем подписал новый ответ на статью

Щеглова. Он был опубликован от первой до последней строчки без единого слова редакционного комментария. Да и нечего было комментировать: критику обком признавал правильной, все должностные лица, допустившие злоупотребления, понесли строгие наказания.

ФУКУ?..

Прочитал новую поэму Евгения Евтушенко. Не берусь судить об этом сложном произведении в целом. Позволю себе однако не согласиться с поэтом в толковании одного важного вопроса.

«Фуку — табу на имя, которое несчастье принесло», — так объясняет автор слово, вынесенное в название. Такое табу наложило коренное население Санта-Доминго на имя Колумба.

«... Есть имена, — говорит Евтушенко, — на которые сама история налагает после их смерти Фуку, чтобы они перестали быть именами». Мне не совсем ясно, как это делается, кто или что подразумевается под историей? Гитлера, например, автор называет Гитлером, а уж на это-то имя, если придерживаться исходной концепции, история должна бы наложить фуку.

В одной из прозаических глав поэмы перед читателем предстает некто без имени, «человек-ястреб», «он», «сам», «в пальто с поднятым воротником... низко надвинутой шляпе». Кто же это, разъезжающий по Москве в черном «ЗИМе» и среди бела дня выхватывающий из людского потока приглянувшуюся ему десятиклассницу, чтобы превратить ее в очередную свою наложницу? Фуку!..

Я знаю, о ком идет речь, потому что жил в то время, когда злобещая тень «человека-ястреба» была воплощением всемогущей силы и еще по одной причине. Но как разгадает сей ребус мой сын, внук? И какой урок они должны извлечь из этой главы?

Читаю поэму дальше. В одной из глав, снова в стихах, поэт рассказывает о своей поездке на Колыму. Увидев «известный портрет» в кабине машины девятнадцатилетнего колымского шофера, Евтушенко обращается к нему со страстной проповедью:

Опомнись, беспамятный глупый пацан,
колеса по дедам идут, по отцам.
Колючая проволока о былом
напомнит,

пропарывая баллон.
В джинсах любых

далеко
не уйдешь,
ибо незнание истории —
ложь!

Тот, кто вчерашние жертвы забудет,
может быть, завтрашней жертвою будет.

Лучше не скажешь!.. Но знание истории несовместимо с фуку. Итак, расшифруем. Речь идет о Берия, многие годы возглавлявшем органы госбезопасности страны.

В 1938 году мой отец был арестован. При аресте, как явствует из сохранившегося протокола, изъяли паспорт, профбилет, охотничье двустольное ружье шестнадцатого калибра, два патрона и семнадцать стреляных гильз к нему, переписку на двух листах (рецепты кулинарных изделий, переписанные каракулями малограмотной жены арестованного, моей мамы). Сколько лет прошло, но та картина и поныне в моей памяти.

Было раннее июльское утро, еще не выгоняли коров. У ворот нашего дома стояла открытая пролетка. Двое в военной форме подвели отца к ней. Он сел в нее, прощально снял с головы кепку, крикнул: «Прощай, учи детей!» Военные вскочили в пролетку, кучер взмахнул кнутом, взвилась пыль из-под колес. Больше я отца не видел. Лишь в 1956 году его посмертно реабилитировали с великодушным предложением выплатить некую сумму за «конфискованное имущество» наследникам.

А в том незабываемом тридцать восьмом мама с узелком ежедневно ходила к двухэтажному кирпичному зданию, где такие же горемыки, как и она, тщетно пытались что-либо узнать о судьбе своих мужей, братьев, отцов, добиться свидания, передать заключенным белишко или продукты. Возвращалась измученная, в слезах. Шли дни за днями, недели за неделями, безысходность сгущалась и, наконец, обрела страшный смысл: осужден как враг народа без права переписки. Вот тут было в самом деле фуку! Не спрашивай, никто не ответит, где он, что с ним. Он вычеркнут из списков живых, его имени надо стыдиться, интересоваться его судьбой опасно.

А мне было двенадцать лет, и был я пионером. А что такое были пионеры тридцатых годов? Павлик Морозов, Чапаев, Чкалов, Испания, Хасан; великий вождь и учитель, фотография которого с девочкой на руках олицетворяла то, о чем пели мы на своих сборах:

Мы дети заводов и пашен,
и наша дорога ясна.

За детство счастливое наше
спасибо, родная страна!

Святая вера руководила мною, когда тайком от матери я написал и отправил в Москву на имя Берия письмо. Смысл его сводился к тому, что произошла ужасная ошибка, мой отец никакой не враг, надо только разобраться. Была там еще и такая приписка; если отей мой действительно враг и это будет доказано, я, советский пионер, отрекусь от него. Сколько надежд возлагал я на свое письмо, как мечтал о том дне, когда «там» во всем разберутся, и будет так, как в картине Репина «Не ждали», репродукцию которой в рамочке повесила в простенке между окнами мама. Не чуя под ногами земли, бежала она к угрюмому кирпичному зданию. Вернулась оттуда с потухшим взглядом, поникшая, убитая.

— Сынок!— заклинала она меня в слезах.— Не пиши. Не напоминай... Заберут и меня, одни останетесь. Христом-

богом молю — не пиши!

— Что тебе сказали там?

— Сказали то же самое: враг, без права переписки, а нам надо быть тише воды, ниже травы. Сказали, что это я тебя научила, что с тобой они ничего не могут сделать, а с меня спросят...

Кто может перебороть упрямство мальчишки, вдолбившего себе что-либо в голову? Год спустя я написал по тому же адресу новое письмо. Получив повестку, мама побледнела и тяжело опустилась на стул.

— Снова написал?— спросила она после долгого молчания.

— Написал,— угрюмо ответил я.

— Ну что ж, надо собираться,— со странным спокойствием сказала мама.— Наверное, меня оттуда уже не выпустят.

И она стала собирать узелок. Со страхом и раскаянием следил я за ее сборами. В голос заревела и повисла на ней сестренка. Но мама вернулась. В тот же вечер она слегла и несколько дней ее отхаживала тетя Груня, моя крестная.

Бедная мама. Прошли годы, все изменилось, я вырос, она стала счастливой бабушкой, но до конца своих дней вздрагивала стоило появиться в доме человеку в форме.

Позорное клеймо — сын врага народа — отравило мое детство, юность и молодость. Когда мои сверстники и друзья вступали в комсомол, вопрос о моем социальном происхождении приобрел для меня новую остроту. Не вступить в комсомол было невыносимым. Но как встать перед товарищами и сказать, что твой отец — враг? Это тоже было выше моих сил. Я вновь написал письмо Берия. Вдобавок к прежним просьбам просил направить меня на фронт или в тыл противника для выполнения любого задания, связанного со смертельным риском. Просил не вызывать маму, а ответить мне лично, так как я уже достаточно взрослый человек.

И меня вызвали самого. Мне дали понять, что вина отца неискупима, что хотя сын за отца не отвечает, я всегда должен помнить, кто мой отец, и быть благодарным за возможность находиться на свободе, учиться в школе. В восьмом я закуролесил, грубил учителям, учился кое-как. Так сам собой отпал вопрос о моем вступлении в комсомол.

Много довелось еще потом испытать из этой чаши, и уже в юности любовью к Сталину я не пылал.

Предложив руку и сердце своей нареченной, я должен был сказать ей и о неблагополучии с моим соцпроисхождением. Ее это не испугало.

— Сын за отца не отвечает же, — с нерассуждающей верой во все провозглашавшиеся тогда лозунги ответила она.

Я, уже испытывавший на себе лживость этих слов, не стал разубеждать ее. Но даже я не предполагал, что вина отца, по наследству перешедшая на меня, падет и на мою жену. Годы два спустя после нашей женитьбы ее пригласили на собеседование в обком комсомола. Оказалось, кандидатуру ее сочли подходящей на должность секретаря, курирующего школы. Она дала согласие. Началась проверка на «благонадежность» и на каком-то этапе этой проверки ее кандидатуру зарубили по причине социальной недоброкачества мужа.

У нас был уже сын, жена работала завучем средней школы, была на хорошем счету и к случившемуся отнеслась как будто бы легко. Но, кто знает, не шевельнулась ли у нее где-то глубоко в душе раскаяние — за кого вышла? А ведь от одной такой мысли до разлада в молодой семье рукой подать. Тем более, что я то и дело подливал масла в огонь. Меня бесило славословие в адрес Сталина, и дома я позволял себе говорить все, что думал по этому поводу. Жена кидалась в спор, отстаивая святость имени вождя. Я вгорячах не выбирал выражений, характеризующих ее интеллектуальный уровень. Споры превращались в ссоры.

— Не трогай ты ее ради бога, — упрашивала меня на всю жизнь напуганная мама, — посадит она тебя...

У жены истекал комсомольский возраст, она заявила о своем намерении вступить в партию. Я не скрыл своего неудовольствия.

— Примут меня, тогда и подашь заявление. Не примут, как жены декабристов, разделяй мою участь, — непримиримо заявил я.

У нее был серьезный довод: комсомол давал характеристику, откладывая вступление в партию не имело смысла. Я стоял на своем. Она поступила по-своему. Дело шло к разводу на идейной почве.

Тут случилась мне длительная служебная командировка в Киев. Это было вскоре после двадцатого съезда. В мое отсутствие жена услышала на партийном собрании письмо ЦК о культе личности. Потрясенная страшной правдой, она переживала вдвойне, чувствуя себя виноватой и передо мной.

В киевскую гостиницу пришла мне от нее телеграмма: «Ты был прав!»

Вернувшись домой уже не просто мужем, но и «политическим лидером семьи», я написал письмо Н. С. Хрущеву. Это было восторженное послание человека, уверовавшего в торжество истины и справедливости на все времена. Жена, теперь уже и единомышленник, прочитав его, засомневалась:

— Стоит ли посылать? Еще неизвестно, как все повернется.

Как показало время, не только я был пророком в своей семье. Но это уже другой рассказ.

Все, о чем я вспомнил, к тому, что половину моей жизни «человек-ястреб» был не просто одним из руководящих деятелей страны, а непосредственным виновником несчастья и унижения всей нашей семьи. А сколько их таких семей было? И вот теперь Берия — фуку. Какие мы благородные, фи, зачем вспоминать о такой бяке.

Ну, у Евтушенко здесь может быть только литературный прием. Но фуку на «человека-ястреба», почти два десятилетия наводившего ужас не только на простых смертных, но и на маршалов и министров, ученых и писателей, давно уже наложено и на академическом уровне. Откройте пятый том второго издания Большой Советской Энциклопедии (том вышел в 1950 году). В нем во всю страницу портрет Берия. В большой статье, посвященной ему, читаем: «Один из виднейших руководителей ВКБ(б) и Советского государства, верный ученик и соратник И. В. Сталина...» и далее в том же духе. Честь отдана в преизбытке: Герой Социалистического Труда, маршал, награжден пятью орденами Ленина и т. д. и т. д. А теперь перелистайте третий том нового (последнего) издания БСЭ. Есть Берке — брат хана Батыя, Бирон — фаворит императрицы Анны Ивановны, есть Берио — бельгийский скрипач прошлого века, — история! Берия — нет... Не было, выходит, у нас никакого Берия! Нехорошо, Большая Советская Энциклопедия! Страна должна знать не только своих героев, но и своих мерзавцев и срока давности для суда над ними нет. А лекарство, даже самое горькое, полезнее карамелек со сладкой патокой.

Будет когда-то четвертое изданий БСЭ. Предлагаю ее редакции свой вариант статьи о Берии. Там, где быть ему по алфавиту, должно стоять его имя. А в пояснительной статье написать примерно так:

... Одна из гнуснейших личностей в истории нашего государства. Темный проходимец, интриган, провокатор, верный пес и палач Сталина. Творил произвол, беззаконие и насилие, погубил множество честных и преданных народу людей. Расстрелян в 1953 году. Возвышение таких людей возможно только при неограниченной личной власти.

Не претендуя на научность терминологии и изящность стиля, убежден в том, что такие зарубки для памяти надо делать. А всякого рода фуку — самообман, утешительная и вредная ложь.

В древнем Риме, когда он был еще республикой, страшно боялись личной диктатуры (от которой республика в конце концов и погибла). Полководцу, одержавшему победу над неприятелем, устраивался триумф. Он ехал, осыпаемый цветами, на золотой колеснице, запряженной четырьмя белыми конями, в лавровом венке. Чтобы поубавить у него опасной заносчивости, государственный раб, державший над ним золотой венец, неустанно повторял ему: «Оглядывайся назад и помни, что ты — человек...»

Не мешало бы ввести в наш правопорядок нечто такое, что делало бы абсолютно невозможным обожествление человека, занимающего высшие посты в стране.

ИЗ СЕКРЕТНОГО ДОСЬЕ

После девятого класса я пошел учиться в радиотехникум. Но, чтобы не отстать от Кости, одновременно ходил в десятый класс вечерней школы рабочей молодежи. Техникум был эвакуирован вместе с радиозаводом с Украины в первый год войны и пользовался в нашем небольшом городе репутацией солидного учебного заведения.

Шел 1944-й год. Пушки грохотали далеко на западе, а в тылу вершилась своя трудная жизнь. С двенадцатичасовым рабочим днем, хлебными карточками, переполненными госпиталями, «барахолкой», где тон задавали инвалиды, овладевшие навыками купли-продажи, игры в три карты и иными способами добывания копейки.

Город делился на Станцию, Заводской край и Татарскую слободку. «Атаманами» (именно так, по-блатному, называли предводителей,) были Черныш, Афанасий и Фарид. По разным поводам били «чужих» поодиночке, дрались край на край. В любой ссоре, возникшей в очереди, в парке, на улице, происходило мгновенное размежевание враждующих сил.

— Слободских быют! — истошно орал кто-нибудь, и тут

же невесть откуда набегали подростки и взрослые (не обязательно татары — делились на края не по национальному, а по географическому признаку!). Об Афанасии нам, мальчишкам, было известно, что он в годах, имеет жену и детей, забронирован от военной службы, работает кузнецом на радиозаводе. Заводских боялись потому, что многие из них носили в карманах финки, выточенные из лучшей стали. Было известно, что по приказу Афанасия зарезали двух или трех человек. Авторитет у него был непререкаемым, слово его было законом. Я сам в назначенный день и час ходил на площадь перед колхозным базаром драться со станционными. Там я видел Черныша. Он оказался невысоким, чернявым, с выглядывавшей из-под куртки тельняшкой.

— Где ваш Афанасий, сука? — метался он среди дерущихся. На него пошел, пригнув голову, малый тоже небольшого роста, в замасленной стеганке и мятой кепчонке. Черныш изготавился, но «наш» сделал какое-то неуволимое движение и тут же исчез в общей сумятице. Черныш осел, зажимая руками рану в боку. Драка мгновенно кончилась, и мы разбежались.

Осенью сорок пятого года демобилизованные фронтовики воздали Афанасию за все.

Рассказывали, что его встретили среди бела дня около дома, в котором он жил. Один из демобилизованных выступил вперед и зачитал по бумаге корявым, но высоким слогом изложенный смертный приговор бандиту за издевательства над братьями, сестрами, отцами и матерями фронтовиков. Приговор тут же был приведен в исполнение. Передавали, что ему нанесли более десяти ножевых ран — такой был у солдат фронтовиков уговор: каждый должен участвовать в казни Афанасия, чтобы отвечать всем вместе. Не помню, судили ли их.

Но я забежал вперед. В техникуме учились в большинстве парни и нас набралось там более двухсот человек. Около половины было сельских, тесно заполнивших

общежитие, под которое отвели небольшое двухэтажное здание. Я быстро подружился с некоторыми из них и был в общежитии своим человеком. На наших сходках не раз заходил разговор о том, что такой силе, как техникум, надо бы организоваться, чтобы при случае уметь постоять за себя. В разгар одного из таких разговоров привели первокурсника Лешу Бусыгина, маленького, бледного, с кукольным личиком мальчишку.

В очереди за билетами в кино к нему придрались. Леша что-то сказал, и тогда на него набросилась целая свора и его жестоко избили.

Леша плакал, размазывая по щекам слезы, и все трогал пальцем щербинку на месте одного из передних зубов. Володька Гавриленко, второкурсник, с ломким баском громко выкрикнул:

— А что? Пойти сейчас туда, дать этим как следует, вот и будет наука.

Из общежития вывалила ватага, объединенная праведной целью: отомстить за Лешку. Сеанс уже шел, и мы заняли позицию у запасного выхода. Когда народ повалил через него на улицу, Лешка показал парнишку, который затеял драку. Володька Гавриленко рывком выхватил того из общего потока.

— Ты за что бил нашего, гнида?

— Какого вашего? Чего придираешься? — заверещал приклатненного пошиба паренек. — Заводских бьют!..

Боевой клич произвел свое магическое действие. Заявzалась драка. Мы были злее и сплоченнее. Наша взяла.

— Так будет со всеми, кто тронет радиотехникум! — кричал вслед разбегающимся Володька Гавриленко. — Педайте всем, радиотехникум в обиду себя не даст!..

Торжествующие, мы вернулись в общежитие. И там, в одной из самых больших комнат состоялось как бы учредительное собрание, провозгласившее, что отныне и навсегда радиотехникумовцы один за всех и все за одного, сами никого не трогают, но обид никому не спускают.

Так родилось в городе новое молодежное, говоря по-нынешнему, неформальное объединение. В этом воинственном студенческом братстве я, как друг Володи Гавриленко, городской, больше других начитанный и склонный к витийству, был своего рода комиссаром.

Пришло время производственной практики на радиозаводе. Нам оформили пропуска, и мы стали приобщаться к холодной обработке металлов и прочим индустриальным таинствам. Однажды меня позвал к себе начальник цеха.

— Тебя вызывают в отдел кадров, — сказал он мне. — Прямо сейчас, отсюда иди.

— Зачем?

— Я этого не знаю.

Меня провели в небольшой кабинет, где за столом сидел военный средних лет в наброшенном на плечи кожаном реглане, что явственно указывало на его высокое звание.

Оглядев меня, он сказал:

— Прямо отсюда, сейчас иди в МГБ, знаешь, на Пушкинской? В 202 кабинет.

Я знал, конечно, да и кто тогда не знал, где располагается это учреждение.

— Зачем? — теряясь перед величественным военным, спросил я.

— А вот вопросы, когда туда приглашают, задавать не положено, — внушительно ответил он. — Иди. Не заходя в цех. И никому из друзей ни слова, куда и зачем отлучался. Понял?

В семнадцать лет человек еще способен верить в чудо. По дороге мне вдруг пришло в голову невероятное. А что, если отец никакой не враг народа, а выполнял важное сверхсекретное задание, и все это нужно было для конспирации, а теперь он это задание выполнил, и меня вызвали для того, чтобы сообщить, что он жив и здоров и скоро вернется домой. Но к тому времени я уже немало

знал, знал и то, что оттуда никто не вернулся, тем более со славой героя и в орденах. Возникшие было в моем воображении радужные картины померкли. Чем ближе я подходил к зданию на Пушкинской, тем более росло во мне ощущение обреченности, предчувствие чего-то темного и ужасного.

И вот мне выписывают пропуск, я иду темным коридором, нахожу нужную дверь.

В комнате двое — молодой старший лейтенант и пожилой в штатском.

Старший лейтенант пригласил меня сесть к его столу. Я сел. Штатский, сидевший за отдельным столом, оказался слева от меня. Он вроде не обращал внимания на нас, рассматривая какие-то бумаги, разложенные на столе.

Старший лейтенант представился. Звали его Виктором Петровичем, фамилии он не назвал.

Лет двадцати пяти-шести. В хорошо пригнанной офицерской форме, чистый, холеный. Не на фронте, в тылу с врагами борется. Курносый, большие голубые глаза. Нехорошие глаза — с мутноватой поволокой. Тонкие губы, деланная и потому неприятная улыбка.

— Ну и как поживает ваше радиотехникумовское товарищество? — начал он разговор. — Как там ты проповедуешь? Нет уз святее товарищества? Правильно?.. Видишь, мы кое-что знаем.

Действительно — знали. Я вспомнил, как совсем недавно в общежитии цитировал по какому-то поводу полюбившиеся с детства слова Тараса Бульбы о товариществе.

— Это из Гоголя, — пояснил я. — Тарас Бульба так говорил.

— Хорошо, что ты такой начитанный, хорошо. И что там дальше говорится?

Я привел всю цитату.

— Так все и говорил?

— Так и говорил.

Мой собеседник повел глазами в сторону штатского,

но тот ничего не сказал.

— А почему ты вспомнил именно это?— уставился мне в глаза Виктор Петрович.

— Ну говорили как раз о том, что и нам надо быть друг за друга.

— Чтобы никому себя в обиду не давать?— уточнил Виктор Петрович, снова выказывая свою осведомленность.

— Вроде так,— осторожничал я, боясь сказать что-нибудь лишнее.

— Ну и правильно делаете,— неожиданно ободрил меня Виктор Петрович.— Вон вас там сколько.

Я перевел дух. Он темнил недолго. Согнав с губ улыбку, деловито предложил мне стать секретным сотрудником.

— Это что же, шпионом быть?— спросил я, самым словом подчеркивая отвращение к тому, что оно выражало.

— Ну, зачем же так сразу — шпионом. Шпионами мы называем тех, кто работает против нашего государства. А это — ну можно сказать по-другому, добровольный помощник органов госбезопасности. Это не позорно, а почетно.

Я чувствовал, что мне расставлены какие-то силки.

— Как советский гражданин и патриот, я и без того заявлю в МГБ, если замечу что-нибудь... антисоветское... угрожающее...— попытался я уйти от прямого ответа.

— Это ты верно говоришь,— согласился Виктор Петрович, пристально, оценивающе всматриваясь в меня.— Но нам нужны люди, которые сознательно ищут врагов, проникают, прощупывают их. Словом, не ждут, когда враг сам раскроется, а раскрывают его. Вот в чем разница.

Я вспомнил, какие иногда приходится слышать разговоры дома, в очередях, в общежитии, если обо всем этом доносить сюда, страшно подумать, что может случиться.

— А почему вы именно меня нашли подходящим для этого?— снова ушел я от ответа.— Я неподходящий вам. Могу проболтаться. И во сне разговариваю, тут уж

я и вовсе ничего с собой не могу поделывать. И знакомиться с незнакомыми не умею.

— Не наговаривай на себя,— прервал меня старший лейтенант.— Мы другое знаем о тебе. Ты со многими дружишь, вообще легко сходишься с людьми. Тебя уважают, ты свой в общежитии, к тебе домой тоже ходят, словом, как раз такой, какой нам нужен.

— И, кроме того, у тебя особый долг перед Родиной!— это неожиданно и резко сказал тот, в штатском, о котором я совсем забыл. Я вздрогнул.

— Ты знаешь, что твой отец осужден на десять лет без права переписки, как враг народа. Вот и отслужи вину отца.

— Выучусь, пойду работать, отслужу,— угрюмо пообещал я.

— Это когда еще будет и как будет. А сейчас положение такое: ты крутом в долгу перед Родиной, перед народом. Сын врага народа, а учишься. В то время, как идет война, проходишь практику на оборонном заводе. Вот какие тебе авансы выданы. Надо хоть что-то и оплачивать и не когда-нибудь, а сегодня.

— И потом,— подхватил старший лейтенант,— тебе легче, чем кому-либо выполнять эту работу. Ты не скрывай, а везде подчеркивай, что отец у тебя сидит по пятьдесят восьмой статье. Понимаешь?

И снова вступил тот, в штатском.

— Ты ведь писал письма самому министру госбезопасности? Помнишь? Напомнить тебе, какие ты там брал на себя обязательства? А как до дела дошло, сразу в кусты, я не я?

У них была своя иезуитская логика. Сломали меня эти двое. Подписал я бумагу, решив про себя, что никто не заставит меня оговаривать невинных.

«Он» назначал мне тайные встречи раз в месяц. Происходили они поздней ночью, в какой-то конторе, куда впускала старуха-сторожиха по условному стуку. Раз за разом я

повторял одно и то же: антисоветских разговоров не слышал, антисоветски настроенных людей среди моих знакомых нет.

Как-то он дал понять, что знает об одном незначительном происшествии в общежитии, из чего я должен был заключить, что он информирован о многом и без меня.

— Видишь,— торжествуя сказал он,— мы обо всем знаем. И если вздумаешь хитрить, нас не проведешь.

Каждая встреча была для меня потрясением. И однажды я сорвался.

— Что хотите со мной делайте, хоть стреляйте. Не буду я сексотом, не могу, противно!

Он проявил неожиданную мягкость, успокоил меня и отпустил, назначив день и час следующей встречи. Я не пришел на нее. «Он» с его улыбкой, голубыми с поволокой глазами стал моим кошмаром, чудился в каждом встречном военном. Я боялся и ненавидел. И тут, не помню сейчас, в какой книге, прочитал такое: пятеро или шестеро приговоренных к гильотине у самого эшафота закололись кинжалом, передавая его после смертельного удара в собственное сердце один другому.

Не раз рисовал в своем воображении эту жуткую и героическую сцену, восхищаясь благородством и мужеством обреченных на казнь, но не сломленных людей. Примерял мысленно такой исход и для себя на тот случай, если за мной придут. Надо было только кинжал добыть. Эта безрассудная решимость, которой я, наверное, только тешил себя, прибавила мне отчаянности. И после того, как особист будто случайно встретил меня по дороге в техникум и на ходу назвал дату и час новой явки, я на нее опять не пришел.

Не знаю, чем бы закончилась эта недобрая игра, если бы я не вырвался из нее, уехав учиться в Киев. Так что не одна любовь погнала меня за тридевять земель от родного дома.

Слава богу, я никого не оговорил, не втянулся «в работу»,

счастливым выскочил из трясины. А рассказал об этом, и будто признался в чем-то постыдном. Так марали людей, повязывая их мерзкой тайной. Я благодарен судьбе уже за то, что дожил до дня, когда этой тайны можно не страшиться, как мертвой гадюки.

БЫВАЕТ, И БУРУНДУК ЛЕТАЕТ

Много давалось определений разновидности homo sapiens, называемой в просторечии «писатель». Пророк, который глаголом жжет сердца людей. Певец, голова которого на блюде подается царю. Было изречено и так: инженер человеческих душ. Кто-то сравнил писателя с колодезкопателем: долго и трудно роется колодец и нередко случается, что в том месте, где его копали, воды либо вовсе нет, либо она не пригодна для питья. Есть и мало приятное сопоставление с дождевым червем, который, пробиваясь к свету, «ест» землю, пропуская ее через себя. Но все трудности писательства бледнеют в сравнении с теми, которые предстоят при прохождении через круги издательского ада. Тут писатель иной раз и дождевому червю позавидует, ибо последний все-таки «ест» только землю.

«... Мне сказали, что в Мадриде объявлена свобода печати и что я не вправе касаться в моих статьях только властей, религии, политики, нравственности, должностных лиц и важных господ,— обо всем же остальном я могу писать совершенно свободно под надзором двух-трех цензоров»,— съязвил однажды Бомарше.

С книгами как с войнами. Нигде нет министерства нападения, есть только министерства обороны, а войны между тем не прекращаются; так почти всюду есть свобода книгопечатанья, но везде появление книги на свет зависит от сонма повивальных бабок, в совершенстве владеющих

ремеслом умерщвления плода как во чреве, так и народившегося.

На днях вернулся из поездки в Алма-Ату, где имел очередное сражение с редактором моей книги, вот уже несколько лет претерпевающей злключения в омуках одного издательства. Поведаю в этой хронике кое о чем из того, что довелось вкусить с тех пор, как «пошел в писатели».

Первая моя книжка прошла через такие мытарства. Послал я ее в литературный журнал. Года через полтора получил отказ в опубликовании романа (хотя на титульном листе было черным по белому написано: повесть). Мотивировка была краткой и невразумительной за подписью человека, не имеющего в литературе никакого имени. Будучи в служебной командировке, я зашел к главному редактору журнала, показал вышедшую из недр руководимого им органа цидулку, попросил, чтобы с рукописью ознакомился человек, мнение которого было бы для меня авторитетным.

— И если напишет он на книгу разгромную рецензию, приму как должное и поставлю на писательстве крест,— заключил я свою просьбу.

Главный поспел, вызвал секретаря и попросил пригласить К. Я не был знаком с ним, но книги его читал. У него уже было имя. Вошел высокий красивый мужчина с трубкой в зубах. Главный, похохатывая, передал ему содержание нашего разговора. К. взял рукопись, взвесил ее на руке, спросил, сколько времени я смогу ждать. Моя командировка истекала через двое суток.

— Зайдите послезавтра утром,— сказал К. и, помахивая зажатой в пальцах папкой с рукописью, вышел из кабинета. Утром назначенного дня я зашел в небольшой кабинет К. Он поднялся навстречу во весь свой великолепный рост, вынул изо рта трубку и без всяких предисловий сказал:

— Поздравляю. Книга есть.

Потом был доброжелательный разговор, дельные, профессиональные замечания. Закончился он неожиданно.

— Журнал забит рукописями на два года вперед. Буду рекомендовать вашу повесть в издательство. Да и вам для того, чтобы заявить о себе, нужнее сейчас книжка, чем журнальная публикация.

Стоит ли описывать мое состояние после столь неожиданного поворота событий? Но я еще тогда не знал, что тернистый путь книги только начинается. В план издательства она попала лишь три года спустя. С ней начали официально «работать». Два рецензента высказали о повести прямо противоположные мнения. Дело доходило до курьезов. Там, где один рецензент выносил на поля три вопросительных знака, выражающих крайнюю степень его возмущения, другой ставил три восклицательных, обозначающих высшую степень одобрения. Назначенный издательством редактор рекомендовал сразу же «подправить» книгу на основе отрицательной рецензии.

— А почему не на основе положительной?— наивно спросил я.

— Достоинства, если они в книге есть, при ней и останутся, надо устранять недостатки,— мудро и исчерпывающе ответил редактор.

Скрепя сердце, наперекор себе, в угоду сердитому рецензенту я внес некоторые изменения. Затем повесть начал терзать редактор. Боже мой, что только ни предлагал он мне переделать в соответствии с его представлениями о том, какой должна стать моя повесть. В одном из первых разговоров он заявил мне буквально следующее:

— Вот эта глава у тебя, пожалуй, лучшая в книге. (Речь шла в ней о самоубийстве девочки, потерявшей во время войны хлебные карточки на всю семью). Но надо ее убрать...— И, увидев по выражению моего лица, что ход его мыслей я не сумел постичь, пояснил:— Во-первых, пионеры не вешаются. Во-вторых... Если мы не уберем главу здесь, ее выкинут там.— Он показал пальцем

куда-то вверх; И поучительно добавил:— Но там, как правило, выкидывают не такие главы из книг, а книги с такими главами.

Двух героев повести — мальчишек, бывших закадычными друзьями, он предложил «объединить» в одного, бабушку «убрать», брата «сократить» наполовину и т. д. и т. д.

Сколько же испортил он мне крови! Я то брался править, то пытался переубедить своего инквизитора, то, наконец, в отчаянье заявлял, что пусть все идет к черту. Неизвестно, чем кончились бы наши баталии, если бы не случай.

Я получил очередную кучу замечаний и пожеланий редактора на новый вариант повести. Пунктов было ровно двенадцать. В том числе и такой. В одном из эпизодов повести рассказывалось о том, как городской мальчишка на сенокосе, встав ранним утром, впервые увидел во всей красе утреннюю зарю, вспомнил хрестоматийное стихотворение Никитина «Утро» и поразился удивительной точности картин, нарисованных поэтом. Редактор особым пунктом указал автору на ошибку: стихотворение не Никитина де, а Кольцова. Прочитав такое, я буквально зарычал от кровожадного предвкушения: мучитель оказался в моих руках. Случилась командировка в столицу, и в первый же день я пошел в издательство. Встретил он меня настороженно, но я сделал вид, что явился с самыми мирными намерениями.

— Если редактор говорит, что бурундук — птичка, так тому и надлежит быть впредь, — лицемерно начал я. — Вы наши отцы, мы ваши дети...

Убаюкав его, перешел к разговору по двенадцати пунктам, предварительно сделав в них одну перестановочку: замечание об авторе «Утра» отнес в конец. Я все тщательно продумал и бил наверняка.

— Пункт первый, — зачитывал я. — Не согласен. Пункт второй — не согласен. Пункт третий... Словом, я огласил одиннадцать пунктов и не согласился ни с одним.

Редактор с изумлением смотрел на меня. Я остановился.

— Выходит, — меняясь в лице, сказал он, — ты ни с одним пунктом не согласен? Ну, знаешь...

— Нет! — прервал я его. — С одним согласен. Пусть будет по-твоему. Пусть «Утро» впредь считается стихотворением Кольцова. Отныне и навсегда! Почтительно соглашаюсь с редакторской волей.

Он откинулся на стуле, побледнел.

— Стой... ч-черт... неужели я здесь спутал?

— Спутал, родимый, — не давал я ему пощады. — Никитин это все-таки. Вот как бестрепетной рукой гробить чужой труд, вот к чему приводит привычка и право все, что взбредет в редакторскую башку, навязывать автору.

На этом и сломался мой редактор. Вместе с двенадцатым пунктом он снял и одиннадцать предыдущих. А я пообещал никому не рассказывать о том, как по его милости бурундук чуть не взмахнул крылышками. Давность случившегося позволяет мне нарушить слово.

Наконец книжка была сдана в производство. И тут по ней еще раз прошли «паровым катком». Директору издательства понадобился дополнительный «листаж»: кого-то срочно проталкивали сверх плана. Мою книгу приказано было сократить на один печатный лист. Резать пришлось по живому. И изуродованная повесть вышла отдельной книжкой, не доставив радости ни мне, ни читателю.

Книга, которая готовится к изданию сейчас, в «работе» уже третий год. Начался ее горестный путь так. Главный редактор издательства, ознакомившись с рукописью, пригласил меня для предварительного разговора. Когда в назначенный день и час я явился к нему, он позвонил одному из своих сотрудников и пригласил его на разговор.

— Мужик ты здоровый, один я с тобой не справлюсь, будем бить тебя вдвоем, — пояснил он.

Мы пошли в холл, уселись в кресла, поставили на стол пепельницу, и избиение началось. Приемы не отличались

новизной, но были хорошо отработанными. В книге не сказано о том-то и том-то, герои неплохо задуманы, но поступают они не так, как надо бы, позиция автора сомнительна и т. д. и т. п. К концу разговора окурки в пепельнице возвышались неопрятной горкой.

Я не соглашался. Да, в книге не говорится о том, о чем автор и не собирался говорить. Автор не отвечает за поступки своих героев. Именно такова позиция автора и т. д. и т. п.

Наконец, книге определили редактора. Препарируя рукопись, он безапелляционно изрекал: читатель этого не поймет, в таких прописях читатель не нуждается, читателю нужны не такие герои. Широко пользовался иронией, становясь в позицию того начальника, который убежден, что имеет право «тыкать» подчиненному в то время, как тот говорит ему «вы». Иногда редакторские аргументы приобретали явно угрожающий характер. — И это советская деревня? — вопрошал он. — И так могут поступать советские ученые?

Эрудиции у редактора было в преизбытке, и он щедро делился ею с автором.

«Дело в том, что при написании художника ведет или безошибочная интуиция, как говорят, дар божий, или безупречное знание законов построения художественного произведения» (ей-богу, так и написал. Интересно, какой все-таки способ лучше?).

«Автор должен идти за поступками своих героев. Парадоксально, но факт: книга, разумеется, хорошая, настоящая, ведет за собой читателя, а писатель идет за своими героями. Когда герои ведут писателя, это хорошо, это литература, когда он их ведет — это потуги, подделка под литературу» (вот так, оказывается, обстоит дело с литературой). Развенчивая одного из героев, он прямо-таки суд над ним устроил, обвинил его в разных неблагоприятных поступках. Так и подмывало отповедать эрудированному и остроумному редактору, что нынешний читатель способен понять лучше и глубже иного редактора; что в советской

деревне и в советском научном мире немало накопилось плохого; что путанные его рассуждения о способах создания художественных произведений — самая настоящая чепуха; что винить автора за то, что его герой совершил или не совершил какие-то действия нельзя, и если герой — подлец, автора таковым считать еще не следует. Но тут вспомнился шкаф в редакторском кабинете, заваленный папками. Под стеклом его хорошо просматривался «гриф» папок: «Рукописи неизвестных авторов». Очень просто: рукопись помуряжат-помуряжат, автор побьется-побьется и рукой махнет, а то и помрет. Рукопись задвинут в дальний угол, откуда со временем она перекочится в шкаф-памятник неизвестному автору. Волей-неволей приходилось вступать с вершителем судьбы книги в сложные дипломатические отношения, протаскивать верблюда в игольное ушко.

Было бы утомительно рассказывать о всех перипетиях этой процедуры. Верблюд уже было пролез в ушко головой, но тут моего редактора то ли понизили, то ли, учитывая его эрудицию, повысили: он перешел в отдел, ведающий изданием классиков. Год спустя он фигурировал в крокодильском фельетоне среди тех ловких издателей, которые за составление сборников из произведений классиков получали гонорары, какие самим классикам и не снились. (И так могут поступать работники советских издательств?)¹ А мне дали нового редактора. С ним я встречался в эту поездку. Начнем новый круг.

¹ Такого сюжета мне бы вовек не придумать! Околелитературный этот деятель оказался непотопляемым и — дело случая — попала на резензию ему и эта моя повесть. И вышел из-под его пера литературно-критический донос: автор де сам продукт застойного времени, «единоведец известной Нины Андреевой», и, как явствует из рукописи, в своей газете не борется за перестройку. Впору не об издании книги речь вести, а рассматривать вопрос о моем служебном соответствии. Вот такой новый подход к литературе обнаружил. Большим перестройщиком оказался. Персональное дело на меня все же не создавали, и книга выходит. Слава богу, не одни те, кто лишь сменили старую дубинку на новую, делают нынче погоду!

ПОЕЗД ИДЕТ ИЗ ЮНОСТИ

Людям не дано знать, как сложится их жизнь, что случится с ними на веку. И это — благо, иначе мы потеряли бы вкус к жизни, перестали удивляться ее неисчерпаемости. Начиная эту хронику, я не знал, как закончатся те или иные события, и уж совсем не думал — не гадал, что сойдутся с настоящим и такие страницы жизни, которым уделял внимание лишь отдавая дань воспоминаниям.

Наш исток — Ишим, степная речка,
Неприметная в простой своей красе.
Наши жизни понесли к извечному
Днепр, Иртыш и Енисей.

Это из стихотворения Кости Кедрова в честь пятидесятилетнего юбилея Толи Донченко, когда за многие годы нам удалось собраться в Киеве всем вместе. У каждого за плечами была уже своя жизнь, свои радости и утраты, разбросало нас по стране.

Была середина мая. В древнем прекрасном городе на холмах над Днепром цвели каштаны. В тот день Наташа, Костя и я исходили весь Киев, а вечером, когда уже включили освещение, оказались на Владимирской Горке. Долго сидели мы на скамейке. Не видимый, а только угадываемый внизу в черном провале Днепр был рядом. Майская ночь неслышно летела над нами. И мы говорили и говорили, вспоминали и строили планы на будущее. После той встречи пролетело еще восемь лет. Мы не теряем друг друга из вида, перезваниваемся, изредка удается встретиться.

Снова по земле идет май. Снова цветут каштаны. Но тревогой охвачен древний прекрасный город. Невидимый и неосоздаемый, но беспощадный враг надвигается на него. Чернобыль у всех на устах. О чернобыльской беде, кто с сочувствием, кто с нескрываемым злорадством шумят за рубежом. У нас, в Светловодске, как и по всей стране,

стихийно проходят митинги, вносятся коллективные и личные средства в фонд Чернобыля. Официальные сообщения, толки, слухи. К тревоге за общую беду добавляется тревога за друзей. Как там они, что у них? Толю Донченко застать дома невозможно, уезжает ранним утром, возвращается далеко за полночь; службы его предприятия брошены на ликвидацию аварии. Наташа за себя не переживает, волнуется за дочь. У той двое «малых», надо бы ее с девочками куда-нибудь на время отправить. Мы быстро столкнулись. Таня с детьми едет к нам в Светловодск. Пришла телеграмма: 16 мая выехали из Киева. Идти поезду четверо суток. Ждем. Вспоминаю.

... В переполненных поездах, с двумя пересадками добрался я в конце августа 1945 года до Киева и с ходу выяснилось, зря приехал: приемные экзамены в институт киноинженеров закончились. Заместитель директора по научной части, кажется, в звании профессора, тучный, лысый старик, выслушав меня, пробурчал:

— Э-э-э, хлопце, что же я могу теперь сделать?

— Но поймите, — с отчаянием и верой в чудо воскликнул я. — У нас недалеко от Петропавловска Омск, чуть дальше Новосибирск, Челябинск, Свердловск, я мог поехать в любой из этих городов! Но я хотел только в ваш, понимаете, только в ваш, таких ведь всего два в стране — в Ленинграде и в Киеве, так? И я только в ваш хотел и семь суток ехал, семь суток, вот почему и опоздал... Понимаете?

Равнодушное, чуть ли не сонное до этого лицо профессора вдруг осветилось широченной добродушной ухмылкой. Прищурился одним глазом, другим он остро глянул на меня и вдруг сказал:

— А ну, сходим к директору.

Кабинет директора показался мне царским чертогом, а сам он ослепительно красивым, чуть ли не сияние исходило от него. Уставясь в пол, профессор с паузами сказал:

— Вот хлопчик из Петропавловска... аж с Камчатки... пятнадцать суток ехал... Говорит, только в наш институт хотел... может, принять, а? Может, и выйдет из него какой-нибудь толк?

И чудо свершилось. Я был принят без экзаменов, просто так, зачислен приказом директора, тогда конкурсов в институте еще не было. Так счастливо все началось для меня в Киеве.

А неполный год спустя, июньским утром 1946 года шел я по Крещатику. На мне были широкие из толстого сукна брюки, заметно обтрепавшиеся внизу, и изношенный парусиновый китель. Многие здания по обеим сторонам улицы, в самом своем названии несшей отзвук тысячелетней истории, представляли собой руины. Но битый кирпич был уже сдвинут в аккуратные кучи, провалы окон уцелевших домов забраны фанерными листами, проезжая часть и тротуары заасфальтированы. Широкая и чистая улица в этот час была еще пустынной. Я шел неторопливо, внимательно вглядываясь во все окружающее. Была у меня для того важная причина: я прощался с Киевом.

Из-за угла Прорезной вдруг вывернула и пошла навстречу мне... совершенно нагая женщина. Невероятность происшедшего заставила меня застыть на месте. Секунды замешательства было достаточно, чтобы женщина подошла ко мне почти вплотную.

— Скажи, есть правда на свете?— выкрикнула она.

Жуткие, широко раскрытые глаза глянули на меня. Сзади подошли двое, из переулка и с противоположной стороны улицы подбегали еще. Быстрорастущая толпа шла за женщиной. Из-за фанерного щита, прикрывающего разрушенный фасад универмага, вышел человек в фартуке с лопатой на плече и остановился, вытаращив глаза.

— Скажи... есть на свете правда?— подступила к нему женщина.

— А хiba ж я знаю?— ответил он.— Я ж, бачишь, дворник.

В это время на обочине, скрипнув тормозами, остановилась крытая машина с крестом. Из нее выскочило несколько мужчин в халатах. Накинув на женщину белое, они потащили ее к машине.

— Я ж говорила,— билась под белым женщина.— Нет правды на свете! Нет правды...

Машина рванулась с места и исчезла за углом.

— Из сумасшедшего дома.

— Ловко они ее.

— Чего захотела, правду ей подавай,— комментировали в толпе...

Я уезжал из Киева, не закончив учебный год. Дома у меня стряслась беда, мама была совсем плохой.

До отхода харьковского поезда оставалось чуть больше часа. Через вокзальную площадь, забитую демобилизованными солдатами, инвалидами, стариками, женщинами, детьми я с трудом выбрался на перрон, независимой походкой прошел вдоль него, миновал стрелку и затерялся между приземистыми пристанционными строениями. Я знал, что делал. Оседлать поезд безбилетнику можно было только с этих дальних и скрытых позиций.

Поезд тронулся. С обеих сторон к нему кинулись люди, повисли на подножках, полезли на буфера. Состав резко затормозил, двери вагонов открылись, и появились солдаты военного патруля. Привычно и беззлобно согнали они неудачливых зайцев и толпой отогнали от него. На этот раз на нижних ступеньках подножек остались патрульные. Они стали соскакивать, когда поезд начал набирать скорость. Теперь и наступали решающие мгновения. Из-под вагонов на соседних путях, из-за углов пакгаузов стремительно метнулись фигуры, сходу цепляясь за поручни, вскакивая на подножки. Я оказался у подножки, уже забитой людьми до отказа, бежал рядом, нетерпеливо поглядывая вверх. Там что-то замешкались. Поезд убыстрлял ход, и, ухватившись кое-как одной рукой за поручень, в немыслимом прыжке мне удалось взметнуть тело вверх

и ухитриться стать одной ногой на краешек ступеньки. На меня напирала сверху, поезд уже разошелся, я висел, чувствуя, как деревенеет рука. Но вот кто-то перемахнул, наконец, на площадку между вагонами, напиравший на меня мужик потеснился, и я ухватился за спасительный поручень другой рукой и стал на ступеньку второй ногой. Через минуту-другую я растянулся на подрагивающей закругленной, нагретой солнцем крыше вагона. Теплый тугой ветер быстро сушил пот на разгоряченном лице. Громыхая железом, обдавая безбилетников удушливым угольным дымом, поезд мчался на восток.

Ехать на крыше оказалось совсем не страшно и вскоре, глядя на других, я не только стоял во весь рост, но и прогуливался по крыше, как по бульвару, и даже перешел с одного вагона на другой. На закругленных, мотающихся из стороны в сторону площадках крыш, обрывающихся со всех сторон к стремительно мчащейся земле, к бешеным стальным колесам, шла жизнь. Там закусывали, там играли в карты, там даже пели.

В Полтаве поезд оцепили солдаты, всех согнали с крыш и повели в комендатуру. Было обидно и унижительно идти под конвоем. Только теперь я сообразил, почему перед Полтавой, едва состав стал замедлять ход, многие из ехавших на крыше, пососкакивали с поезда. Они дойдут до вокзала пешком, затеряются в общей массе и снова оседлают тот же поезд.

Когда лейтенант с красной повязкой на рукаве вернул мне документы и махнул рукой: — Иди! — я не сдержал обиды.

— Что же получается, товарищ лейтенант, гоняют, как зайцев. Я так с голоду ноги протяну пока доберусь до дома.

Лейтенант строго на меня глянул.

— Знаешь, парень...

Но тут же пересилил себя и, понизив голос, сказал:

— Ты думаешь, все такие, как ты, едут? А сколько

шкур и сволочей, как тараканы, разбегаются сейчас отсюда во все стороны, ты знаешь? Смотри в оба, с кем будешь рядом. Можешь оказаться и с такими, что за документы душу вынут, понял? Иди!..

И снова на крыше, и бегут, бегут мимо печальные поля Украины.

Смеркалось. Неподалеку от меня несколько парней и девчат, развязав свои сидорки, ужинали. Я старался не смотреть в их сторону, но мучительная пустота в желудке была сильнее воли; несколько раз я-таки метнул исподлобья завистливый взгляд на чужую снедь. То ли эти взгляды были замечены, то ли по другой причине показался я подозрительным, только после ужина, когда уже совсем стемнело, подползли ко мне двое из этой группы.

— Слушай, парень, — сказали они. — Мотай-ка отсюда на другую крышу.

— Это почему же?

— Потому что потому... Не нравишься ты нам и все. Сказано — мотай!

Как все-таки сложно устроен человек. Умом я понимал, бывают ситуации, когда силе надо уступать. Но несправедливо же! — восстала душа против здравого смысла.

— Никуда я отсюда не пойду! — выкрикнул я.

— Уйдешь! — спокойно, но многообещающе сказал один из парней. — Уйдешь, как миленький.

— Ну, чего вы ко мне привязались? — не уступал я. — Кто вы такие?

— Мы-то студенты. А вот кто ты такой, мы не знаем. А ну, добром давай...

Тот, который сказал это, схватил меня за рукав. Я рванул его руку с такой злобой и силой, что он даже вскрикнул.

— Я тоже студент! А вы — сволочи! Вас здесь много, вам ничего не стоит спихнуть меня... только одного из вас я с собой прихвачу! Прихвачу! Будьте уверены! Хотите?.. Давайте! Сволочи!

— Тю, да он бешеный, — сказал один из парней.

Они отползли к своим. Краем глаза я видел, как, махая руками, они что-то там рассказывали, как зашевелились все, потом, видно, заспорили. Потекли томительные минуты. Слезы обиды и унижения навертывались на глаза. — Есть на земле правда? — вдруг вспомнилась мне утренняя сцена. Покосившись краем глаза в сторону своих обидчиков, увидел, что там все угомонилось. Решили не связываться или составили какой-то заговор?

Громыхал в ночи поезд. Далекие вечные звезды искрились в небе. Я лежал, обхватив рукой вентиляционную трубу. Здравую мысль о том, что все-таки надо уйти с этой крыши, пересилило упрямство, спать я боялся — спихнут и поминай, как звали. Так и бодрствовал всю ночь, изредка впадая ненадолго в забытие.

О, эти паровозные гудки! Наслушался я их за ту дорогу. И вовсе не одинаковые были они, оказывается. Крикливые у маневровых «кукушек», суетившихся на путях больших станций. Откровенно глумливые у локомотивов, увозящих за собой составы, на которые не удалось вскочить. Горластые, заполошные — у встречных, особенно по ночам, взрывающие до искр в глазах каменный сон, закладывающие уши до долгой глухоты.

Зато обзор с крыши и вынужденные долгие шатания на крупных станциях окунули в такой поток жизни, какого не увидишь из окна вагона. Полтава в руинах; битый кирпич, ржавое железо на месте бывшего вокзала в Харькове; испепеленный Воронеж, разбитые водокачки, обрушенные железнодорожные мосты, сиротливые силуэты печей на месте бывших сел, ржавые остовы искореженной военной техники.

В Харькове присел я у какой-то стены, сон сморил меня. Внезапно проснулся от шума, топота бегущих куда-то людей. Вскочив, побежал вместе с ними.

На небольшом пятачке у какого-то строения дрались двое безногих. Вздрыошенные, пьяные, отталкиваясь руками от земли, они подкатывали друг к другу на своих тележках

и неистово, в кровь садили один другого в лицо, рвали друг другу волосы. Жуткую картину пререзал женский крик.

— Да остановите их кто-нибудь!

Но не нашлось человека, который решился бы подойти к двум этим несчастным, крикнуть на них, отшвырнуть друг от друга. Два обрубленных почти по пояс тела, два ужасных подобию человека, два символа звериного смысла войны корчились, хрипели на земле. Невозможно представить себе картины более страшной и более унижающей человека. Зачем земля, зачем небо и солнце, если возможно такое?

Дни и ночи без четкой грани между бодрствованием и сном, мелькание телеграфных столбов, путевых будок, огней, лязг железа, шипение пара, гудки, — все это постепенно слилось в нечто цельное, бесконечное и единственно существующее в мире. Шли десятые сутки моей одиссеи. Я бродил по привокзальной площади Челябинска в ожидании очередного поезда на восток. Езды до дома оставалось каких-нибудь двое суток, но я уже еле держался на ногах от голода и переутомления.

Четверо солдат, разложив на газетах снедь, аппетитно ели и громко разговаривали:

— Ждать пассажирский — только время терять. Здесь на восток товарняки один за другим идут. За милую душу доедем любым, — услышал я. Неведомая сила подтолкнула меня к ним.

— Вам куда надо?

— В Кызылжар, джигит, — улыбаясь, ответил коренастый казах-сержант, грудь в медалях. — Знаешь такой город?

Еще бы мне не знать. Так издавна называют казахи местность, где на правом берегу Ишима стоит Петропавловск. Береговая линия крутой высокой стеной вьется здесь по степи и издали приметна благодаря характерному красноватому цвету образующих ее пород. Кызылжар Красная земля.

— Я тоже в Петропавловск. Возьмите меня с собой

Десятые сутки еду! — заторопился я.

Солдаты внимательно на меня поглядели. Что увидели они в моем чумазом лице, в глазах? Не знаю. Только вдруг сказал казах-сержант:

— А что ж не взять земляка. Садись, пополнение... Садись, садись... И давай за наш дастархан. — Он протянул мне горбушку хлеба, толсто намазанную желтым маслом и посыпанную белым сахаром.

Кто не голодал по-настоящему, не поверит, что у меня при виде этого подношения закружилась голова. Кто знает, что такое голод, тому не надо объяснять, что ел я, размазывая по грязным щекам горько-сладкие слезы.

Как роскошно ехали мы в товарном вагоне, настелив на полу сена! Сабит-ага, дядя Ваня, Степан и Василий, я и сейчас вижу вас, будто все было вчера. На остановках я бегал за кипятком, за махоркой. Сколько наслушался я фронтовых баек, сколько песен перепели мы дорогой под трофейный аккордеон.

Край сосновый,
Солнце встает.
У крыльца родного
Мать сыночка ждет.

Дождалась меня мама.

... Где-то, грохоча на стыках, день и ночь идет поезд из Киева. Поезд из юности.

ЧАСТЬ II

МОЙ ОППОНЕНТ

С Иваном Михайловичем Смолиным мы подружились после одного давнего уже случая. Кончилось какое-то совещание, нам с ним оказалось по пути.

— Умер великий советский поэт Твардовский, а мы даже траура в стране не объявили, — начал я разговор.

— Эк вы куда хватили! — возразил Смолин. — Что он, государственный деятель? Маршал?

Вот ведь как повернул. Крепко же засело в нем убеждение, что мерилом человеческой ценности является табель о рангах.

Я пустился в рассуждения о том, что маршалами назначают и, следовательно, могут и разжаловать, поэтами же рождаются, признания, славы, заслуг им нельзя ни прибавить, ни убавить, все это у них либо есть по праву таланта, либо нет. Сослался на известный факт — солдаты Великой Отечественной на передовой не пускали в раскур статьи Эренбурга и стихи о Василии Теркине. Прочитировал ему пронзительные строки из главы «Переправа».

Иван Михайлович приумолк, задумался. Кончился наш разговор неожиданно.

Я спросил, помнит ли он что-нибудь из Некрасова. Он, конечно, помнил и, оказалось, любил стихи великого поэта.

— А маршала какого-нибудь, министра времен Некрасова помните? — не отставал я от него. — А царствовал кто?

Иван Михайлович засмеялся.

— Сдаюсь... Министра ни одного не помню. А царь... Александр, конечно, только не помню точно, какой по счету, второй или третий... Есть у вас Твардовский?

— Найдется.

Поэт заморозил Смолина.

— Читаю и не могу начитаться. Упиваюсь «Страной Муравией», «Теркина», «За далью даль», кажется, наизусть выучу, — делился он при встрече. — Какой поэт, какая правда жизни, какой стих!

За плечами у Ивана Михайловича немалая жизненная школа. Начиная в сельском райкоме партии, перебивал на разных ступенях партийной и советской работы. При желании мог носить два ромба — кроме высшей партийной школы заочно закончил институт народного хозяйства. С десятков лет уже заведует отделом в облисполкоме.

Ему я и навязал свое «новое творение», зная по опыту, как не скоро читаются рукописи в литературных конторах. Прочитал он ее за один присест и на другой день явился для разговора.

— Первый вопрос, — начал он, положив рукопись на стол, — не слишком ли много ты берешь на себя? Извини, но кто ты такой, чтобы предлагать в печать то ли мемуары, то ли дневник? Большой ученый? Известный писатель? Крупный государственный деятель?

— Опять ты по табели о рангах идешь, Иван Михайлович. Я простой советский человек. Только мы, по-моему слишком долго злоупотребляли этими словами и вкладывали в них обидный смысл. Простой, значит, примитивный, несложный. Тот самый винтик, которому предназначены раз и навсегда отведенные место и роль. Простой в смысле не рассуждающий, не имеющий никаких сомнений, всем довольный, всегда охваченный энтузиазмом. Это опошление человека. Таких элементарных, как амебы, людей нет. Каждый человек — целый мир. Ты — тоже, я — тоже. Но ты любишь авторитеты. Найдем и авторитет.

Я взял с полки «Былое и думы» Герцена и раскрыл книгу на заложенной странице.

— Вот что говорит большой писатель, большой общественный деятель, большой ученый Герцен. Читай.

В книге были подчеркнуты такие строки:

«Для того чтобы написать свои воспоминания, вовсе

не нужно быть великим человеком или выдавшим виды авантюристом, прославленным художником или государственным деятелем. Вполне достаточно быть просто человеком, у которого есть что рассказать и который может и хочет это сделать. Жизнь обыкновенного человека может вызвать интерес, если и не по отношению к личности, то по отношению к стране, к эпохе, в которую эта личность жила. Мемуары, конечно, могут быть скучными, и жизнь, в них рассказанная, бедной и незначительной. Тогда не читайте их — и это будет самым страшным приговором для книги».

Иван Михайлович прочитал раз, второй, отложил книгу.

— Что ж, убедительно. Снимаю вопрос. Но пойдем дальше. Скажи мне... Раньше мы действительно слишком много хвалились достижениями. Сейчас вроде гордимся недостатками. Какую газету ни раскроешь, оторопь берет, одни обличения и разоблачения. И огонь сосредоточен на руководителях. Все и всё они делали не так. Прикидываю на себя. Кажется, хлеб даром не ел, когда требовалось — ночей не досыпал, дома неделями не бывал. Ты вот тот раз не поехал скот спасать, на операцию лег. И в книжке своей вроде даже хвастаешься, вот, мол, какой я герой, не подчинился секретарю обкома. А я поехал. И какая же это была тяжкая командировка, вспомнить страшно... Взятки не брал, детей своих никуда не пристраивал, не пьянствовал, не притеснял подчиненных. В чем же мне надо перестраиваться? Или мне должно быть стыдно уже потому, что многие годы нахожусь на руководящей работе? И вложенный мною труд, мой опыт теперь ничего не значат, или, более того, оказываются со знаком минус?.. А народ — паинька. Не пьет, не халтурит, не ворует. Ты знаешь, как воруют у нас на мясокомбинате? Как разворовывают стройматериалы? Как тащат с заводов? А молодежь ныннешняя? Дай джинсы, дай японский маг, а работать — от работы кони дохнут, она не волк — в лес не убежит, пусть дядя работает. Уж если в чем и можно винить

партийные и советские органы — так в том, что миндальничает много, всепрощением занимаемся. Сталина нашему народу нужно...

— Слушай,— не выдержал я.— В чем-то ты прав. Об этом после. А сейчас я тебя спрошу: ты про Сталина так, к слову, или в самом деле тоскуешь по тем временам?

— А что Сталин?— не дал мне договорить Иван Михайлович.— Ну, было — тридцать седьмой, тридцать восьмой годы, так об этом уже сказано, а что еще? Войну выиграли, порядок был везде, дисциплина.

Ну как выбить из него это идолопоклонство?

— Тут мы с тобой во взглядах не сойдемся, дорогой Иван Михайлович. Войну выиграл народ, несмотря на все, что натворил Сталин, и, теперь это уже ясно, если бы не он, выиграл бы меньшей кровью. И не криви душой, не только тридцать седьмой и тридцать восьмой оставили страшную память в народе. Ты помнишь указ сорок девятого года?

— Что-то не припомню.

— А я помню и, разреши, напому тебе.

... Я работал тогда в сельской школе. Вехи того времени — постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», знаменитая сессия ВАСХНИЛ, потом вышли труды Сталина по языкознанию — новое проявление его всесторонней гениальности. Все это тогда даже для нас, учителей, было далеким, туманным, непонятым. А уж народу, колхозникам — совсем до лампочки. Всю колхозную работу волокли на себе женщины, старики да подростки. Работали за «палочки». Концы с концами кое-как сводили за счет личного хозяйства, ухитрялись еще при этом платить натуральный налог маслом, мясом, яйцами, шерстью. Я не преувеличу, если скажу, радищевская деревня была. Из двухсот учеников около сорока человек с наступлением зимних холодов бросали школу из-за отсутствия обуви и одежды! Осенью мы всей школой выходили на сбор колосков, создавали так называемый фонд всеобуча, пекли из собранной пшеницы хлеб и на большой перемене выдавали детям

по ломтю хлеба. Бедность была потрясающей. А ведь колхозники ежегодно добровольно подписывались еще на заем. Добровольность была, правда, относительной. Заведующий райфо, обычно проводивший в нашем селе кампанию подписки на заем, так разъяснял упорствующим суть займа:

— Заем, милая, добровольный,— это ты правильно говоришь. Вместе с тем это градусник, которым измеряется, кто как относится к советской власти. Тут, сама понимаешь, или-или. Третьего не дано. Так-то...

И в эти минуты перед той вдовой, наверное, казался он сам себе необыкновенно умным.

Был тогда обязательный минимум трудодней для каждого трудоспособного в колхозе, кажется, сто пятьдесят в год. Летом сорок девятого прибыл в село первый секретарь райкома, собрал актив — коммунистов, членов правления, депутатов сельского совета и объявил, что есть указ, согласно которому, по решению колхозного собрания, подлежат высылке те из колхозников, которые злостно не выполняют минимум трудодней.

То, что потом произошло, навек врезалось в память. Огласил секретарь указ и говорит:

— Вечером проведем общее собрание колхозников. Явка всех, кто хоть с палкой, хоть на карачках ходить может, обязательна.

Так и сказал!

— А сейчас,— говорит дальше,— давайте определим кандидатуры на выселение. Вашему колхозу (тут он заглянул в бумажку) надлежит выселить пять человек.

Долгая и страшная была пауза. А потом началось такое, что и пересказать невозможно. Называли, конечно, наиболее дерзких, непокорных, сводя при этом свои счета. И, оказалось, далеко уходили корни этих счетов. Сорок девятый был год, а припоминали, чей дед или отец, или брат у Колчака служил, кого раскулачивали, кто в колхоз не хотел вступать, кто сын врага народа или был в плену

Жуткая картина!

Председатель колхоза назвал фамилию одной вдовы, известной неукротимым характером и острым, как бритва, языком.

— Женщин — не надо! — сквозь зубы бросил секретарь.

— Так мужиков-то у нас по пальцам, — начал было председатель и поперхнулся под взглядом секретаря.

И вот список, наконец, составили. А вечером — общее собрание.

В президиуме, кроме членов правления, секретарь, начальник районного КГБ, начальник районной милиции.

Люди выслушали указ в угрюмом безмолвии. Назвали первую кандидатуру на выселение. Опустили головы, прячут глаза колхозники, не поднимают рук!

Секретарь вышел из себя. Встал (крупный был мужчина, в «сталинке» и галифе), загремел:

— Саботируете? Мало вам пяти человек? Хотите, чтобы продолжили список? Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы за злостное уклонение от выполнения минимума трудодней выселить Посохова Леонида?

— Считай, — приказал он милиционеру, стоявшему сбоку от стола президиума. Милиционер пошел по проходу у стены (собрание проходило в коридоре школы). Едва поравнялся он с первым рядом лавок и повел в их сторону взглядом, все сидящие на них подняли руки и тут же опустили. Так прошел он до самого последнего ряда и раз за разом повторилась та же картина.

— Кто против?.. Воздержался?..

Против и воздержавшихся не было.

Дико и страшно было все это. Ведь знал я, как жили колхозники, знал тех людей, которых вдруг объявили врагами и на глазах у всех взяли под стражу. А тогда все именем Сталина вершилось. Да уж такое-то без его ведома и в самом деле не случилось бы. И разве забудется такое... Один из тех, кого определили к высылке, отчаянно мыкнул:

Что вы меня пугаете? Да страшнее того как мы здесь живем, не может быть!

И мгновенная реакция секретаря

— Вот он, товарищи, живой враг! Взять его!

И поныне стоит в ушах плач женщин и детей бежавших с машине, на которой увозили новых «врагов». И это Иван Михайлович, было в сорок девятом после войны, после победы. Сталин не знал других методов работы с народом, кроме устрашения этого народа. И какого народа! Гениальный вождь испытанным способом решал сразу две задачи. набирал рабочую силу для уже объявленных миру «великих строек коммунизма» и еще раз запугивал и без того уже натерпевшийся всяких страхов народ. И это все, что знал и умел великий вождь, отец и учитель. В силу обстоятельств личной судьбы, я не фетишизировал Сталина. То, что произошло тогда, любви к нему не добавило. Ты слышал, наверное, что правительство, которое возглавлял Ленин, авторитетные историки считают умнейшим правительством всех времен и народов. Сколько там было блестящих людей, выдающихся личностей. Наш народ выстрадал себе право, достоин именно таких правительств, а не диктаторов и тиранов. И когда я слышу вот такие заявления — Сталина бы нашему народу, так и подмывает пользоваться известной терминологией объявить этих истосковавшихся по беззаконию и произволу людей врагами народа. Конечно, чаще всего такими словами бросаются либо по недомыслию, либо в пику кому-то или чему-то. Но есть слова, которыми играть нельзя!

Все так. Но ведь и от того, в чем Иван Михайлович народ обвинял, не отмахнуться. Тут ведь мы тоже немало нагрешили: слово «народ» произносим так часто и только торжественно, что реальности, стоящие за ним размываются, превращаясь в некое подобие святого духа. А народ, он всякий и разный, не из одних ангелов состоит и товетрия разные в народе бывают и соблазнам он податлив и вы оду свою не упустит. То в чем обличал Иван Михайлович

народ, увы, «имеет место быть».

Из недавней редакционной почты:

«... В обеденный перерыв в бригаде маляров-штукатуров провожу политинформацию. Собрались все в одной из недоделанных еще комнат, уселись прямо на полу. Молодые большинство, глазастые, смешливые, бойкие на язык. Кто-то сбегал в соседний кулинарный магазин, принес на всю бригаду пирожки. Тут одна и говорит:

— Ну где же мясо-то в этих пирожках? Вот греют руки люди. И куда только власти смотрят? Обдирают народ и будто так и надо. Безобразие!

Ко мне обращается. Что ответить? Спрашиваю:

— А вот скажите, девочки, только честно, если вам свою квартиру покрасить надо, обои наклеить, где материалы берете, покупаете или?

Переглядываются, хихикают, мнутя. Потом одна за всех отвечает:

— Ну, что врать, не покупаем, конечно. Все ведь здесь под рукой. Да сколько нам надо?

— А если, спрашиваю, — родные, друзья попросят, ведь не отказываете? — Замялись, почуяли подвох. — Ну, говорю, смелее, между нами ведь все. Та же, что на первый вопрос отвечала, говорит за всех: — Есть и тут грех...

Я еще нажимаю.

— А продавать не случилось?

— Никогда. Это уж чересчур, — загалдели все.

— Хорошо, — соглашаюсь. — В вашей бригаде такого не было, а вообще бывает?

— Бывало, бывало.

— Вот, — говорю, вы сами и ответили, почему безобразия происходят. Вы утаите, а если точнее, украдете краску, отделочные материалы, плохо отделаете квартиру. Те, что пирожки пекут, получив новую квартиру, купят у вас или у вашего прораба краску, обои, плитку и сами отделают себе квартиру. А в компенсацию за затраты и труд украдут у вас мясо. Вот вы и квиты, выходит. А можно

обойтись без такой механики? Вы им честно отделяете квартиру, они честно вкладывают мясо в пирожки?

— Можно, наверное, — ответила, наконец, одна. — Только надо, чтобы сразу все так стали делать. А как этого добиться?

Вот именно — как этого добиться?..»

Опубликовали мы под рубрикой «Из зала суда» корреспонденцию о группе расхитителей, возглавлявшейся главным бухгалтером одного из техникумов. В жизни никто плохо о ней не мог и подумать. Одевалась более чем скромно, чуть ли не в домашних тапочках на работу приходила, была внимательна к сослуживцам, бухгалтерские дела вела безукоризненно. И только в процессе следствия и на судебных заседаниях выявилось истинное лицо «хозяйки», как величали ее соучастники преступлений. Характерная деталь: будучи бухгалтером на общественных началах в жилищно-строительном кооперативе, она похищала деньги и там. Буквально за день до ареста подделала документы по оплате коммунальных услуг за квартиры. Падение нравственное, так же, как и падение тела в пространстве, инерционно, а порой и в «штопор» переходит.

Не стал бы я вспоминать об этой заурядной мощеннице, мало ли таких судят, — если бы не одно привходящее обстоятельство.

Вместе с матерью на скамье подсудимых оказалась одна из дочерей, особо «облагодетельствованная» любвеобильной мамашей. Ей определили условную меру наказания с удержанием двадцати процентов заработка. И вот является на прием молодая приятная женщина, одета строго, почти в траур, на лице грусть.

— Газета оклеветала меня, и я пришла добиваться опровержения.

Протягивает заявление и газету. Несколько мест в корреспонденции подчеркнуто красным карандашом. Оказалось, по решению Верховного суда республики, некоторые

из названных в публикации вещей признаны не подлежащими конфискации.

— А мне здесь жить и работать. Как же так получается, газета печатает о человеке ложь. Выходит, нет правды на свете.

Признаться, выслушав ее, я даже оторопел. Надо же — искательница правды! С ее ли позиции обличать свет? Да и как же нет правды? Есть. Воровала мать и получила по заслугам. Другие не воруют, их не судят. Знала же, что мать живет не по средствам, а от щедрых ее подачек не отказывалась, вот и получила условный срок и все остальное.

Высказал посетительнице все это.

— Я осуждаю мать, — возразила она. — Да она и получила свое. Но зачем меня опозорили в газете? Как я буду смотреть в глаза товарищам по работе?

Снова да ладом. Какая же пелена застит ей глаза до сих пор? Родителей не выбирают, тут никто детям не судья. Но неужели она так и не поняла, что фактически является соучастницей хищений? Деньги не пахнут. Не воровала сама, пользовалась краденым, зная, что оно краденое. И считает себя чистенькой, о добром своем имени печется, белый свет в неправде винит.

— Ну, хорошо, — сказал я. — Заявление ваше принимаю. Создадим комиссию, факты еще раз перепроверят. Если допущена неточность, извинимся. Но, чтобы правда, за которую вы так болеете, была полной, мы, уж не обессудьте нас, скрупулезно перечислим и все, что у вас действительно конфисковали.

Просительница молча потянула со стола свое заявление, сложила его и сунула в сумочку. Затравленно глянула на меня, встала.

— Извините. К чему мне все это? Чтобы снова мои косточки перемывали?.. До свидания.

Ушла с выражением оскорбленной гордости на красивом лице, оставив едва внятный запах тонких духов. Безгрешная

и гонимая. Так и будет жить, сожалея не о том, что пользовалась краденым, а только о том, что лишилась его. Оставив за собой право винить в своих бедах кого угодно, только не себя.

Еще один сюжет из уголовной хроники.

Недавно судили в Светловодске одного афериста. Специализировался он на так называемых имущественных преступлениях, а больше всего преуспел в аферах того толка, которые строились на естественном стремлении одиноких женщин найти себе спутника жизни. Сорокалетний холостяк, одетый всегда с иголочки, разъезжающий на личном автомобиле, знакомства с такими женщинами он сводил легко. И, пожалуй, никто не судья им, этим женщинам, желавшим видеть в лице нового знакомого возможного спутника жизни. Любовь да совет, как говорится.

Матримониальные планы своих знакомых аферист умело стимулировал — подчеркнутым ухаживанием, щедростью, обещаниями. Праздники души вскоре сменялись однако жестокой прозой: кандидату в спутники жизни вдруг хотелось получить от той или иной своей нареченной норковую шапку, перстень, с тыщонку-другую денег или еще какую-нибудь малость. Просьбы переходили в примитивное вымогательство, вымогательство — в грубый шантаж. И, правда есть правда, — и шапка, и перстень, и многое другое уплывали в загребущие, ничем не брезговавшие руки «милого друга».

... Были ухаживания, заверения и даже день бракосочетания назначен. А получил четырехкомнатную квартиру — не то, что хозяйкой в дом, в гости не позвал и здороваться перестал. Вот оно, коварство и любви! Но как же быть, кому печаль свою поведать, если вот этими самыми руками сделала ему, «изменщику», фальшивую справку, с помощью которой он и занял хоромы? Проглоти обиду, рви на себе волосы и помалкивай. И ведь вот тут какой парадокс: все жертвы афериста — не из уголовного

мира. Они вполне добропорядочные люди: отродясь чужого не брали, служебные обязанности свои исполняли старательно. Случись найти им, скажем, утерянный кем-то кошелек с деньгами, многие из них непременно сдали бы его в милицию. А вот выдать фиктивную справку, по которой можно получить те или иные блага, поставить не по заслугам первым в очереди, отпустить дефицит с черного хода и т. д. и т. д. — на это идут с легким сердцем, не испытывая ни сомнений, ни угрызений совести. Все так делают — вот та формула, которая позволяет все недозволенное! Но откуда идет это роковое поветрие — от народа вверх или сверху в народ? Я уж не говорю о построенном на глазах у всех ударными темпами «сиротском доме», вызвавшем столько толков. Сейчас молва перемывает косточки городского начальства. Говорят, под следствием первый заместитель председателя горисполкома. Говорят, возбуждено уголовное дело против управляющего трестом Шредера, которого долго и упорно защищали и в горкоме, и в обкоме партии. И, самое главное, говорят не зря. Наезжают серьезные комиссии, одних уже втихомолку сняли с работы, другим дали возможность срочно уйти по собственному желанию. Но известно, потянули за ниточку — разматываются всему клубочку. Не в этом ли первопричина того, что все больше и больше людей начинают считать работу не смыслом, а лишь способом жизни, при котором государству отводится роль дойной коровы.

Нарком продовольствия Цюрупа на заседании Совнаркома падает в голодный обморок. Мифическая фигура? Нет, большевик, соратник В. И. Ленина, реальный человек, настоящий партиец. У нас многим, в том числе и некоторым министрам, опасность грозит с другой стороны — всяческие недуги от переедания. В Чехословакии недавно заявило о себе общественное движение «Не будем бронтозаврами». В эту шутиливую формулу вложен серьезный идейный заряд. Бронтозавр вымер на планете потому, что имел слишком большое туловище и слишком маленькую голову,

т. е. потребности его сводились к насыщению. Есть над чем подумать тем, кого захватила безудержная погоня за жизненными благами, кому все еще невдомек, что даже если они имеют золотой унитаз, все равно он не пригоден ни к чему другому, кроме своего прямого назначения. Все имеет на свете свои границы, только жадность может стать беспредельной. С самыми тяжкими последствиями, ибо поговорка о веревочке, которой сколько ни виться, будет конец, выверена вековым опытом, как статья уголовного народного кодекса.

ТРЫН-ТРАВА

Поезд, пробежав полстраны, плавно замедлил ход и остановился у первой платформы нашего недавно выстроенного нового вокзала. В пестрой толпе встречающих поспешили мы к восьмому вагону. Молодая женщина с двумя девочками сходит на перрон. Попутчики подают ей баулы, сумки. Наши? Подходим.

— Я узнала вас, — певуче говорит Таня.

Жена подхватывает на руки младшенькую.

— Мы ехали, — тут же сообщает она, доверчиво обнимая ее.

— С приездом, с приездом, — говорим мы.

Везем путешественниц домой. Квартира у нас блесит — жена с племянницей Аленкой к приезду гостей основательно ее продраили, особенно позаботились, чтобы где-нибудь, не дай бог, не завалялись лезвие бритвы, кнопка ли, гвоздь, вязальная спица, осколок стекла и тому подобное, что всегда, как магнит, притягивает к себе детей.

Суeta, смех, писк: ребятишек купают. Потом уgomонившихся детей укладывают спать, я накрываю стол. Обед проходит, как говорится, в теплой дружеской обстановке.

Не очень многое к тому, что мы уже знали, добавила Таня. Но все же это были впечатления человека «оттуда».

Конечно, была в Киеве на первых порах и паника. Особенно, когда кое-кто из начальствующего состава стал срочно эвакуировать свои семьи. Поползли разные слухи. Люди стали увольняться, самовольно бросать работу. Поезда брали чуть не штурмом. Потом это решительно пресекли. Говорят, самого Щербицкого видели гуляющим по Крещатику с внуками. Детей стали вывозить организованно. Город на глазах пустеет. Официальной информации не очень верят. АЭС от Киева недалеко, многие связаны с ней по работе, у многих в Чернобыле и окрестностях родственники. Рассказывают каждый по-своему. Не знаешь, чему верить, чему не верить. Стараются окна и форточки не открывать, на улицу лишний раз не выходить. По несколько раз в день делают в квартирах влажную уборку, лестницы поливают водой. Рекомендовано чаще умываться, чаще менять одежду и обувь. Как нарочно, жара стоит страшная, люди задыхаются в духоте. Над Киевом не дают пролиться ни одной капле дождя — авиация рассеивает облака. А враг невидимый, неосязаемый, всепроникающий. И в голове у каждого одно: как жить, что делать? Первое время боялись, что ядро реактора может уйти в землю, встретиться с подземными водами, и тогда — взрыв и новая волна радиации накроет Киев. Уровень радиации сейчас колеблется. В тихие безветренные дни он опускается, при ветре — поднимается. Никто не знает уверенно, что можно есть, что нельзя. Можно ли пить воду. Говорят, Киев с днепровской воды переключили на днестровскую. Говорят, бурят артезианские скважины. Говорят, полезно пить красное вино и многие усиленно налегают на это лекарство. Говорят, йод помогает от радиации. Но уже и случаи отравления были. По радио призывают к спокойствию, предостерегают против самолечения. А ведь люди слушают голоса и закордонные. А там такие страхи нагоняют. Японцы предсказывают: через пять лет Киев вымрет...

Если последствия аварии одного блока АЭС столь

губительны, что еще не поддаются оценке, что же сулит человечеству ядерная война? Уж не само ли провидение зажгло этот страшный факел? И не начинает ли прозревать человечество? Во всяком случае многие в мире восприняли нашу беду, как свою собственную. Тысячи американцев, англичан, немцев, французов, японцев предложили свои услуги в качестве доноров костного мозга. Поспешили на помощь профессора Гейл и Тарасаки.

Страшен и горек урок Чернобыля, долго еще вдумывать-ся нам и всему миру в зловещее значение этого знамения!..

Оксана и Маринка заняли в доме господствующее положение. Все волей-неволей вращалось вокруг них. Оксана — егоза, обидчива, но отходчива. Только что плакала — уже смеется. У Маринки в неполные три года уже характер. Если в добром расположении — ласкова, послушна. Чуть что не по ней — замолчит, и тогда уж на кривой козе к ней не подъедешь, взгляда не удостоит.

— Я хочу это.

— Нельзя, Мариночка.

— Я хочу!..

И весь сказ. И ничем её не улестить. Оксаной малышка помыкает, как заблагорассудится. А букву «р» выговаривать не научилась. Я вспомнил, что когда-то был учителем.

— Во дворе трава, на траве дрова, — ну-ка, Маринка, повтори.

— Во дворе тлава...

Нет, трудно запомнить ребенку такую длинную скороговорку.

— Маринка, скажи: трын-трава!

— Тлын-тлава... тлын-тлава, — веселится дитя.

В субботу едем на дачу. Всеобщий восторг.

На обочине пасется теленок.

— Ой, какая большая собачка!

— Да уж, — усмехнулся я про себя, вспомнив, как и сам побывал «собачкой».

Жена, Таня и Аленка ушли на концерт заезжих зна-

менитостей. Оксана убежала играть во двор. Я остался с Маринкой, легкомысленно заявив, что мы с ней поладим. Она с ходу в голос заревела.

— Ма-ма! . Ма-ма!..

— Маринка-малинка, а вот конфетка,— неумело развлекал я её.

— Не хочу-у-у... А-а-а! Ма-ма-а-а!..

Что делать?

— Маринка-малинка, давай играть в прятки,— наконец осенило меня.

Не вытерев слез, Маринка побежала прятаться. Разумеется, я слышал ее сдерживаемое попискивание за углом книжного шкафа, но, по всем правилам, искал ее не там, где она была, громко приговаривая:— Куда же она спряталась?.. Где же она? Напряжение действия нарастало, пока Маринка, не выдержав накала чувств, с визгом выскакивала сама:— А я тут!..

Наконец, я устал, моих актерских способностей уже не хватало, чтобы изображать то растерянность, то изумление.

— Может, хватит, Маринка?— осторожно спросил я.

— А-а!.. Ма-ма-а-а!— тут же завопило дитя.

— Не надо, не надо, погоди,— засуетился я.— Ну, давай еще поиграем, только во что-нибудь другое.

Давно сказано: язык мой — враг мой. Напросился я.

— Давай мы будем собачками,— деловито предложила Маринка.— Ты будешь большой собачкой, а я маленькой.

— Так,— еще не предчувствуя, что меня ожидает, согласился я.

Маринка стала на четвереньки и потявкала на меня.

— Теперь ты становись так,— скомандовала она.

— Как?

— Как я, ты ведь тоже собачка.

Вот оно что. Дивясь самому себе, стал я на четвереньки.

— Теперь гавкай.

И я неумело загавкал...

В самый разгар этой увлекательной игры, когда я уже шустро бегал на четырех и довольно сносно рычал и гавкал, весь комизм происходящего неожиданно представился мне. И, не успев обрести вертикального положения, сидя на полу, я неудержимо расхохотался. Маринка во все глаза на меня смотрела, не понимая, что со мной случилось. Но как было втолковать крохе, что развеселило меня?

На веку уже не однажды доводилось удивляться сюжетности жизни. Но тут сюжет такой вдруг обрисовался, что нарочно действительно не придумаешь.

... Была первая трепетная любовь. Были мечты и грезы. Были соперничество, страдания и надежды. И было, как в песне:

Горько, нам, брат,
Горько нам, брат,
А целуется другой.

Обыкновенная история. И были у каждого своя жизнь, свои радости и тревоги, и редкие встречи уже на иных, далеких друг от друга витках наших судеб. А такое — что мне доведется с внучкой ее нянькаться, бегать на четвереньках и лаять по-собачьи,— такое нам и во сне присниться не могло. А случилось же!.. И я хохотал, как помешанный. Великая придумщица жизни!..

Не властны мы в самих себе,
И в молодые наши леты
Мы все даем поспешные обеты
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

Постепенно все устроилось. Нашли Тане временную однокомнатную квартиру, решились вопросы с работой для нее и детским садом для ребятишек.

Заходим посмотреть, как обжились киевлянки на новом месте. В комнате незнакомая молодая женщина.

— Шолпан,— представляет ее Таня.— Вместе работаем. Муж у нее в Чернобыль уехал на ликвидацию аварии.

Рядом на одной ножке попрыгивает девчушка — Маринкина ровесница.

— Айгулька, перестань! — одергивает ее Шолпан.

Жизнь выстраивает новые сюжеты. Вот как сошлись судьбы Тани и Шолпан, Оксанки с Маришкой и Айгульки.

Расспрашиваю Шолпан о муже. Её Ильяс — бригадир известной в городе молодежной строительной бригады. В Чернобыль поехали добровольно всей бригадой. Пишет что работают вахтовым методом, соблюдая все меры предосторожности, всем довольны.

— Как вы думаете, очень опасно там? подняла она на меня глаза.

Как мог, постарался успокоить. Шок первых дней прошел, наобум там теперь ничего не делается, наука медицина держат все под контролем.

... Наши гости уехали в Киев в начале октября. И уж нам жаль было расставаться с ними, не только хлопоты, но и радости принесли они в нашу устоявшуюся размеренную жизнь.

Объятия, поцелуи, пожелания счастливого пути.

Тискаю Маринку.

— Прощай, Маринка-малинка.

— Трын-трава! Трын-трава! — вдруг говорит она, ясно выговаривая «р». Ах ты, шантрапа пузатая, выучилась-таки!

Через несколько дней я в телефонной трубке услышал далекий, с берегов Днепра, голосок:

— Это я... это я...

Это ты, Маринка-малинка. И видится мне, вторят ей миллионы детских голосков Оксенок, Васильков, Вов, Айгулек, Майклов, Джонов, Катрин, Жаннет. Это вы, дети земли, вызываете к разуму взрослых — остановитесь, остановите! Живите милые, растите, мира и счастья вам на земле!.

Зоной рискованного земледелия принято считать нашу область.

— Бермудский треугольник, — более энергично высказался как-то известный у нас агроном. — Одни крайности. То морозы, то жара. То засуха, то наводнение. То ураган, то саранча.

Он, конечно, сгустил краски, но все же... Кстати, именно этот агроном получает высокие и устойчивые урожаи на своих полях, исповедуя принцип: нельзя списывать все на ненормальности климата, ибо именно они являются нормой нашего региона.

По нынешним самым осторожным прогнозам в области ожидался неплохой хлеб. Уборка была уже в разгаре, когда мне удалось вырваться в командировку. Ранним утром мы выехали в самый дальний район, основную житницу области, как привычно называют его у нас.

В ясную погоду, откуда ни подъезжаешь к Возвышенке, силуэт элеватора виден за двадцать-двадцать пять километров. И когда идет сюда с полей хлеб, когда день и ночь тяжело проседают весы под большегрузными машинами, а тысячетонные баржи, сменяя друг друга, становятся под загрузку, — здесь, как нигде, весомо и зримо воспринимается громада овеществленного труда земледельцев.

Возвышенский — самый северный район области, стык студеной Сибири и жарких южных степей. Суровы здесь зимы, летом нередки засухи, ранние заморозки, морозящие дожди по осени. Но воистину бескрайни хлебные поля района. Солнце всходит над пшеницей и заходит за пшеницу, так что здесь не кажутся слишком смелыми слова поэта: не за землю держатся колосья, а на колосьях держится земля.

Рабочий день первого секретаря райкома Василия Николаевича Глотова начинался и заканчивался в эти дни

не по обычным меркам. В шесть утра он уже в своем кабинете. С порога к барометру — куда показывает стрелка. На столе — сводка — как сработали за сутки.

Трудно дался возвышенцам нынешний урожай. Затяжная холодная весна на грань риска поставила сроки сева. Лето слишком долго скупилось на дожди, расщедрилось на влагу лишь во второй половине. Хлебам бы зреть, а они в рост пошли, метеорологи сулили ранние заморозки, дожди со снегом.

— Скошено... обмолочено... вывезено... осталось скосить, молотить, вывезти, — вновь и вновь прикидывал Василий Николаевич на микрокалькуляторе. Из южных районов пришли своим ходом, доставлены баржами по Иртышу более пятисот комбайнов — немедленно включить в работу. Словом, извечное для страды беспокойство, не покидающая ни на минуту тревога: не промедлить, успеть, темпы, темпы. Помнит секретарь урок прошлого года. Остались тогда нескошенными на первое октября сорок тысяч гектаров. Ударила непогода. Целый месяц бились потом с обмолотом на тех полях, технику со всего района на них согнали, а хлеб наполовину только и взяли.

Готов в первых ходит недавно, мелод — ему чуть за сорок. До него первым около двадцати лет был здесь Гнатюк, личность в известном смысле легендарная. Знал он в районе не только каждое хозяйство, но и каждое поле, каждую ферму, не только секретарей парткомов, главных специалистов, но и всех механизаторов, доярок, скотников. Вездесущ и крут был, слово его было для района законом. Казнил и миловал по собственному разумению. В сводках район всегда шел одним из первых. В обкоме с Гнатюком очень считались. Узкий круг лица знал, что у Гнатюка была заповедная зона с охотничьим домиком, содержались егери с собаками. Жаловало к нему в гости высокое начальство не только областного масштаба. Под стерляжью уху и жаркое из косули умел Гнатюк рассказывать смешные байки. И только одна слабость была у него. После обеда

любил он часок соснуть. На это время движение транспорта на одной из центральных улиц райцентра, где стоял особняк секретаря, перекрывалось.

День и другой присматривался я к райкомовским будням и не мог не отметить про себя: нет особой суеты, надсадных телефонных накачек, ажиотажа вокруг сводки. И совсем уж удивился, услышав, как Готов выговаривал по телефону одному из директоров совхоза:

— Не давите только на сдачу. Нам не просто вал нужен. Выхаживайте, подрабатывайте пшеницу.

Такое, да в эту пору (была вторая половина сентября) услышать, — не сразу поверилось.

— Большой хлеб мы ожидали, — рассказывал Готов, — к уборке готовились основательно. Нашупываем в работе кое-что новое. Раньше перед уборкой мы три-четыре бюро проводили. Нынче обошлись одним заседанием. Определили на нем стратегию жатвы. Обозначили круг обязанностей РАПО. Уже одно то, что райком, я, как секретарь, избавились от функций снабженцев по запчастям, поубавило суеты в райкоме. Больше стали уделять внимания политико-массовой работе на жатве, расстановке кадров, организации торговли, питания, культурного обслуживания. Стараемся не дергать директоров совхозов. У каждого может быть и должен быть свой маневр. Просто гнать сдачу не разрешаем. Ведь оплата зависит от того, какую пшеницу мы предлагаем государству. За ценную пшеницу — надбавка десять процентов, за сильную — до пятидесяти, за твердую — до ста процентов.

— Выполните план по сильным и твердым пшеницам?

— Скорее всего нет. Не везде хватило теплых солнечных дней. Но поступаться нельзя ни пудом. Научимся грамотно оценивать зерно, работать с ним, сделаем шаг вперед.

По итогам жатвы оказалось: около двух третей зерна возвышенцы сдали ценным, план по твердым пшеницам значительно перевыполнили, а по сильным до плана немного

не дотянули. Но тут им можно только посочувствовать. Запомнилось, как директор совхоза Еркен Алыбаев удрученно стоял над хлебным полем последнего срока сева. По самым осторожным подсчетам, здесь должны были собрать вкруговую не менее двадцати центнеров с гектара. Такая стояла пшеница, что многих специально привозили показывать. Сглазили! В ночь на первое сентября ударили заморозки.

— Больше четырнадцать центнеров теперь с этого поля не взять, — сокрушался директор. — Да и силу зерна уже не наберут. Вот что получилось.

И он снова и снова шелушил на ладонях колосья, пробовал зерно на зуб и тяжело вздыхал. Такое оно, переменчивое хлебоборбское счастье...

Ночевать Готов пригласил меня к себе.

— Жена в отпуске, сын в армии, дочь в институте, — предупредил он, — разносолами не побалую, но полную свободу гарантирую.

Мы приехали поздно, почаявничали и легли спать. Утром Готов показал хоромы, которые достались ему по наследству от Гнатыюка.

Основательно устроил все бывший хозяин района. Шестикомнатный кирпичный особняк с гаражом, баней и другими надворными постройками обнесен был добротным забором. Две большие комнаты в особняке пустовали.

— Слишком много комнат, — пояснил Готов. — Мне такой особняк и ни к чему бы.

— Отдал бы под детский сад или гостиницу, — сказал я.

— Была такая мысль. В обкоме отсоветовали. Не ищи, мол, дешевой популярности. И не дискредитируй своего предшественника. Он с почетом ушел.

— А что ж в районе доживать не захотел?

— Не смогу, говорит, на птичьих правах жить здесь. Знаю, подхалимы отвалятся, а все, кого ломать приходилось, припомнят. Живи, говорит, на готовом. Вселился я и жалею теперь. Тут ведь какое наследство было еще. В летней

кухне стоял холодильный агрегат, знаете, какие бывают в небольших столовых. В зале мощные электрообогреватели. Подключено все было к автоколонне, так что электричеством Гнатыюк пользовался бесплатно. Ну, я все это сразу обрубил, агрегаты вернул, а вот излишки жилплощади и баня, там ведь царская баня, на моей совести.

Вторую половину своего рабочего дня, заканчивающегося за полночь, Готов проводил на колесах. Я напрашивался к нему в попутчики.

Степь пахла хлебом. Поля с нескошенной еще пшеницей, разлинованные уходящими вдаль валками, уставленные бесчисленными копнами. Низко громоздящиеся облака; солнце, надолго исчезающее в них, а то вдруг до золотого блеска высвечивающее дальнее или ближнее поле. Милая сердцу картина, на которую смотреть не насмотреться.

Сверкнуло в стороне степное озеро. По небу тянул югу клин казарки.

— Гусь идет, на хвосте зиму несет, — прокомментировал Еркен Алыбаев.

— Не утерпел поди, разок-другой выскочил на озера? — поинтересовался Готов.

— Из чехла ружье не вынимал. Вот закончим уборку — отведу душу. Люди днюют и ночуют в поле. Комбайны работают до двух, до трех часов после полуночи. И начинают, чуть рассветает... План сдаем к двадцатому. К первому октября будет полтора плана. Если поднатужиться, может, и два сделаем. Заманчиво. Но ради цифры, ради рекорда, сук под собой рубить не станем. У нас ведь и животноводство по реализации почти не уступает полеводству. Силос закладывать начнем. Соломы двухгодичный запас кровь из носу сделаем.

— Нужда выучила, — после небольшой паузы добавил Алыбаев. — Кто побывал на заготовке соломы в Кустанае, у себя теперь и соломинку на дороге лежать не оставит.

Урожай радовал, дела на жатве шли неплохо. Больше всего волновала Глотова предстоящая зимовка. С животно-

водством в районе было традиционно неблагополучно. Из года в год пускали под нож целые фермы, обновляли стадо, а бруцеллез оставался бичом района. Зимовки проходили на предельно-минимальном кормовом рационе, падеж скота был привычным и будто неизбежным злом.

— С кормами всегда туго, — рассуждал Глотов. — Косим все, что можно и нельзя, но ведь без фуража какие корма? А с фуражом всегда туго было, даже в самые урожайные годы. Отдай все и точка, потом государство поможет. Это ж годами так шло. Гнать в этих делах беспощаден был. Однажды, когда еще директорствовал в совхозе, попытался я восстать.

— По хлебному балансу района, говорю, совхоз должен сдать столько-то. Почему заставляете нас сдавать сверх. Чьи недоработки мы должны покрывать? Никогда не забуду, как он на меня глянул!

— Хлебный, говоришь, баланс? Не знаю и тебе не советую знать такого. У нас есть один баланс — партийный. Понял? Вот по этому партийному балансу с тебя и с меня и будут спрашивать.

— Ну, а вы теперь как будете действовать? Впрочем, теперь полная ясность — твердый план, а всем, что сверх — хозяйство вольно распорядится само.

Глотов ответил не сразу.

— В прошлом году я согрешил. Нельзя так дальше. Слава богу, практика эта осуждена. Клянусь сам себе — не поддаваться ни соблазнам округлить цифру хлебосдачи, ни нажиму. Нужно становиться хозяевами, не только сегодняшним днем жить. Зарекаюсь навек. Слово!..

— Если называть вещи своими именами, это же была практика узаконенных приписок.

— Безусловно. Приписки стали прямо-таки всеобщим поветрием. Из года в год твердили: посеяли, приступили к сенокосу, убрали хлеб раньше, чем в прошлом году.

На партийном собрании в совхозе, где я директорствовал, встал аксакал, был у нас такой дотошный старик, оратор — поискать.

— Эй, директор, — говорит, — каждый год раньше посеяли, раньше косили, раньше убрали. Я считал. Получается, сею теперь в январе, косим сено в марте, урожай убираем в мае. Зачем все время врем? Действительно — зачем?

Недавно рассматривали на бюро персональное дело одного директора совхоза. Несколько лет подряд этот директор молоко, использованное на внутрихозяйственные нужды, выпаивание ягнят и телят, общественное питание, оформлял как сданное в счет плана. Ходил в передовиках, премии получал, орденом его наградили. Слушаем его на бюро. Вину свою, конечно, признает. Но тут же говорит:

— Бывший первый секретарь... принуждал. А я — солдат партии. — Вот так все просто, благородно, хоть к новой награде его представляй. Каково?

— А мог Гнатьюк пойти на такое?

— Думаю, мог. Престиж района в его понимании требовал иметь хотя бы одно показательное хозяйство. И тут для него преград не существовало. Должен быть — надо сделать. Людей он знал, давить умел. А охотники на такое «доверие» всегда находились, стоило только бровью повести — бу сделано! И делалось. Как только сейчас это расценивать, вот в чем вопрос. Все виноваты, выходит, а значит, никто не виноват.

— Ну и как вы решили с тем директором?

Задал он нам задачу. С одной стороны, может, и правду, даже скорее всего правду говорит. С другой — когда это солдатами партии считались люди нечестные? Вкатили ему строгача с занесением, освободили от работы.

Большой хлеб не только успех, но и экзамен на зрелость. Не впадут ли возвышенцы в эйфорию цифр с многими нулями? Бывало, кружили они кое-кому головы. Слишком много заслуг приписывалось себе, когда выпадал

урожай, а в следующем году вновь получали жестокие уроки. Тогда с легкостью необыкновенной все списывали на неблагоприятные погодные условия.

— Не впадем, — не имеем права, — ответил Глов. — Хотя все и не так просто. Нынче по интенсивной технологии пшеница возделывалась у нас на половине всех площадей. На новую технологию не «на ура» переходили. Зимой в областной сельскохозяйственной станции прошли обучение главные агрономы, агрономы отделений, бригадиры тракторно-полеводческих бригад. В совхозах обучением были охвачены практически все механизаторы. И если оценивать положение на сегодня в целом по району, «интенсивка», несомненно, дала немалую прибавку к урожаю. Но какую — по району и каждому отдельному хозяйству, — вряд ли кто возьмет на себя смелость определить.

Я не сразу понял его мысль.

— Здесь вот какая сложность возникает. Мы ведь нередко действуем почти вслепую. Если говорить, к примеру, об удобрениях, исходим больше из принципа — кашу маслом не испортишь. А дело это тонкое: на одно поле нужно сорок пять килограммов фосфора, на другое не больше двадцати пяти, зато оно нуждается в азоте. Чего приходится опасаться? Подобьют в том или ином хозяйстве баланс и возликуют: интенсивная сработала, так держать? И будут так держать, а в будущем году окажутся без хлеба. И какой вывод сделают? «Интенсивка» ничего не дает. Дискредитируем идею, вот чего боюсь.

— Какой же выход?

— Иметь в каждом хозяйстве агрохимлабораторию. Пришло время работать с землей не на глазок, а на уровне изучения ее образцов в пробирках, с помощью микроскопа и точнейших весов, на цвет, на вкус и на запах. Нужно иметь полную, всестороннюю характеристику каждого поля и на ее основе определять, как с ним работать, в чем и в каких дозах оно нуждается, на какие семена лучше отзовется и так далее. И такая оценка полей должна проводиться

ежегодно.

...После ряда неурожайных лет район дал большой хлеб. Хлеб нужен сегодня, нужен будет и завтра. Сейчас важно дать себе трезвый отчет в том, что получено как результат собственных усилий, а что пришло благодаря тому нечастому в наших краях случаю, когда по присловью, был бы дождик да гром, нам не нужен агроном.

В эти дни в северных областях проходили партийно-хозяйственные активы.

— Верный признак, будет нынче миллиард, — соображал вслух Глов. — Тут все отработано: прогноз обнадеживающий — закрутилась машина. Там поднажмут, там попросят — и миллиард, весомый казахстанский каравай, как яичко, на весы положат. Наверное, и в нашу область кто-нибудь завернет.

Связались с обкомом, его предположения подтвердились: ожидается.

Актив состоялся через день. Прогноз Глова подтвердился полностью: «делался» миллиард.

С короткими сообщениями выступили Калашников и несколько первых секретарей райкомов. Затем к собравшимся обратился с речью высокий гость. Собственно выступление его было скорее не речью, а доверительным «отеческим» разговором. Ни слова о перестройке, о необходимости коренной ломки стиля и методов руководства, новых подходов.

— Я знаю область давно, — слышалось с трибуны. — У вас сильная партийная организация, не раз доказывавшая, что ей по плечу самые трудные дела. Вот и сегодня мы собрались здесь, чтобы посоветоваться по важному для всей страны вопросу.

Комментируя выступления предыдущих ораторов, он без нажима, но недвусмысленно дал понять, что вал по хлебосдаче необходимо увеличить.

— Где сорок шесть миллионов, там, наверняка, найдется пятьдесят, не правда ли? — обращался он к залу. — К

примеру, Глов назвал тринадцать с половиной миллионов. — Тут он нашел взглядом Глотова. — Я не требую, я прошу, Василий Николаевич, что за цифра — тринадцать с половиной? Пятнадцать вам вполне по плечу, ведь так?

Глов встал. Я затаил дыхание... «Зарекаюсь навек. Слово!» — вспомнился мне недавний разговор. Ну, Василий Николаевич?

— Безусловно. Мы приложим все силы.

— А уважаемый Хасенов, — продолжал между тем оратор, — назвал уж совсем неудобоваримую цифру, шесть и одна десятая миллиона. Зачем нам дробь? Семь миллионов здесь сами просятся...

Еще несколько секретарей дали такие же заверения, как и Глов. Партийно-хозяйственный актив принял обязательство продать государству пятьдесят миллионов пудов.

В вестибюле мы столкнулись с Гловым.

— Выходит, снова по партийному балансу хлеб придется выбивать из хозяйств? — посочувствовал я. Глов непонимающе посмотрел на меня. Он еще не отошел от своего порыва.

Миллиард!.. А что случилось бы если сдадут, скажем, девятьсот двадцать миллионов пудов? Не звучит? Миллиард — звонко. И ради этой звонкости снова будут заставлять сдавать все подчистую. И никто, ни единый, не набрался мужества возразить или хотя бы сомнение высказать: «Есть предложение, нет возражений». Откуда в нас эта готовность к бездумному повиновению, затмевающая здравый смысл? Чего здесь больше — годами насаждаемой и культивируемой традиции чинопочитания или гарантированной безнаказанности послушности? Выходит, все мы «солдаты партии», как тот директор, о котором рассказывал Глов?¹

¹ Практика выколачивания из хозяйств хлеба до последнего зернышка вскоре еще раз была осуждена на самых высоких уровнях. Но осенью

НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА

У нас стало неприятным иметь собственное мнение, а тем более высказывать и отстаивать его. Издалека это идет. С тех времен, когда любое слово, оброненное «вождем и учителем всех народов», выдавалось за божественное откровение.

XX съезд пробил было брешь в рабьем молчании. Но не успели мы привыкнуть говорить, как думаем, опять вошла в обиход пышная риторика. Народу вновь стала отводиться роль безликой массы, обязанной по любому поводу испытывать чувство глубокого удовлетворения и на все отвечать политическим и трудовым подъемом. Между тем народ воспринимал эту политическую трескотню с глухим раздражением, а порою и попросту насмехался над нею.

Сейчас нередко можно слышать: не надо очернять прошлого, в нем немало прекрасного, героического, славного. Да, были ошибки, были трагедии, но мы строили новое небывалое общество, а путь первопроходцев никогда не был гладким рельсовым путем.

Я не историк и не экономист, не возьмусь судить, была ли альтернатива индустриализации и коллективизации. Для меня несомненно одно, если социализм и не мог обойтись без них, любые экономические преобразования должны осуществляться без массового уничтожения людей. Что же касается непомерного возвеличивания руководящих деятелей и неудержимого бахвальства по поводу несуществующих успехов — тут нам на неизведанность путей ссылаться и вовсе не приходится. Раз мы

1987 года все повторилось. Хлеб, оставшийся сверх выполнения плана, у передовых хозяйств буквально реквизируют, как в достопамятные времена у крепких крестьян. На робкие голоса несогласившихся с осужденной практикой следовал один ответ: «Хлеб — это политика...» Звучало это так многозначительно и таинственно, будто это слово специально придумано для того, чтобы оправдывать любые действия, не отвечающие здравому смыслу (примечание автора).

извели этот путь и осудили. А все-таки снова пошли по нему. И опять — уже под другим названием — осудили. И — что же это? — снова покатались по той же дорожке. И как покатались!

Уже ни у кого — ни у рядового рабочего, ни у министра — не было сомнений, что путь этот дикарский, унижающий народ, гибельный для государства. А машина крутилась.

Находясь в служебной командировке в Алма-Ате, иду на прием к большому своему начальству. Известно, в такие кабинетыходишь всегда официальным, собранным, подтянутым. Вхожу. Хозяин кабинета просматривает «Правду» с портретом и пространным сообщением то ли о присвоении нового почетного звания, то ли о присуждении очередной звезды. Вместо ответа на мое «здравствуйте» он бросил на стол газету и с каким-то даже отчаянием в голосе воскликнул:

— Ну скажи мне на милость, для какого дьявола ему это нужно?

Я в некоторой растерянности пожал плечами.

— Да, такие дела... Садись.

Он тут же позвонил кому-то.

— Читал?.. Дай команду. Отклики, ну, сам знаешь, о всенародной радости...

О рабья покорность, вбитая в нас столь крепко, что мы голосуем «за» когда «против», пишем лозунги, над которыми смеемся, вешаем портреты людей, о которых рассказываем анекдоты! Неужели мы никогда не разогнем спины?

Запланировали мы как-то четвертую страницу первоапрельского номера газеты целиком посвятить «Дню смеха». Номер уже был сверстан, из типографии пришел оттиск четвертой полосы. И тут застучал телетайп — важное правительственное сообщение. И пошел текст — на целую полосу о присуждении Ленинской премии в области литературы, искусства и архитектуры автору известной трилогии.

Срочно остановили набор, заслали в типографию телетайпные ленты. Да, а как же быть с четвертой полосой? Это что же получится: открываем номер славословием, а заканчиваем «Днем смеха»? Как бы плакать не пришлось. Заново верстаем четвертую полосу. В типографии и редакции в выражениях не стесняются. Уношу оттиск четвертой полосы — на память о том, как мы чуть было не посмеялись. Первый апрель — никому не верь...

Утрачивалась вера в высокие цели и ценности, все большее распространение получали разгильдяйство, пьянство, воровство. Гены бюрократизма вновь и вновь воспроизводили тип руководителя, подобострастного перед вышестоящим и требующего такого же подобострастия к себе от нижестоящих. Тот, кто лепит изображение Будды, не поклоняется ему, — гласит индийская пословица. Лепить «будд» стало у нас для многих ремеслом, обеспечивающим безбедное житье.

Листаю блокнот с записями, сделанными в ходе работы XV съезда Компартии Казахстана (1981 год), делегатом которого довелось быть.

«Съезд проходит как хорошо организованный праздник. Действие разыгрывается в великолепном дворце, каждый отлично знает свою роль, режиссура прекрасная. Главная обязанность рядовых делегатов вовремя регистрировать свое присутствие. Все остальное почетно и необременительно. Отсидев положенные часы на заседаниях, вечерами общаемся со столичными друзьями и нужными людьми, используя момент почетного представительства как хорошую карту».

«В выступлениях ораторов лошадиные дозы лести. И дозы эти тем больше, чем выше по своей должности оратор. Слушаешь одного, оторопь берет. Ну, думаешь, этого уже превзойти невозможно. Выходит следующий, такое выдает, что все сказанное до него меркнет. И кто только пишет им такие панегирики?»

«В секторе зала, где сидит наша делегация, замечаю

одного. Очень уж мечется, когда по сценарию предусмотрены проявления особо бурного восторга. Выкрикивает: «Слава!.. Слава!..», дирижирует, призывает нас к активности. Неужели такие «операторы» рассажены по всему залу?!

Дело прошлое, может и не нужно обо всем этом вспоминать? Глубоко убежден: нужно! Чтобы до конца понять и прочувствовать, «от какого наследства мы отказываемся». Вспомним, с чего мы начинали. Огромная неграмотная страна, постигая в ликбезах азбуку, выводила корявыми буквами первую заповедь социализма: «Мы не рабы...» Чинопочитание, переходящее в раболепие, попросту неприлично. Пусть те, кто произносил такие речи, хоть запоздало да покраснеют. Что ж они, дедушки Крылова слова в детстве не заучивали о том, что лезть гнусна, вредна? Да никогда угодничество не будет считаться у нас гражданской добродетелью. Да будет восприниматься как оскорбление руководителя любого ранга изливание на него подобной словесной патоки!

Недавно попалась мне на глаза книга Л. Соловьева «Возмутитель спокойствия» и — в который раз! — с удовольствием перечитал ее. Полностью издали ее только в 1966 году. Что же крамольного усматривало в ней чье-то бдительное око? Наверняка, оно усекло непозволительную схожесть эпитетов, расточаемых раболепствующими придворными эмиру бухарскому (блистательному повелителю... подателю счастья и радости всему живущему... великому, солнцеподобному владыке) с панегириками нашего собственного изготовления.

Упившийся лестью вельмож, придворных мудрецов и поэтов, эмир, наконец, сам сочиняет стихи о себе:

Когда мы вышли вечером в сад,
То луна, устыдившись ничтожества своего,
спряталась в тучи,
И птицы все замолкли, и ветер затих,
Мы стояли — великий, славный, непобедимый,
подобный солнцу, и могучий.

Нет, нет, я не намекаю. И если у иного читателя возникнут ассоциации с литературными упражнениями правителей других народов и эпох, пусть сам в них и разбирается.

Помню XVI съезд коммунистов республики, проходивший в преддверии двадцать седьмого съезда. В стране набирала силу гласность. В центральной прессе к тому времени было уж немало острых публикаций по Казахстану. От каждой такой публикации длинная густая тень тянулась к «самому», ибо злоупотребляли властью, бесчинствовали нередко именно те, кого он лично обласкал и возвысил. В канун съезда толки — устоит-не устоит — шли самые разные. И вот съезд.

Доклад был обстоятельным, критичным. И в то же время отдавал он спокойствием за общее положение дел в республике, не было в нем тревоги, признания крупных провалов и вины ЦК за эти провалы. Не было прямого признания негодности прежнего стиля и методов работы и ориентации на коренную перестройку. Речь шла лишь об имеющихся отдельных недостатках и упущениях, устранение которых — дело времени и не более. К революции доклад явно не звал.

— Старик на хороших тормозах спустил колымагу, — заметил один из журналистов в перерыве. — Свежим ветром не очень-то пахло.

«Неистовый Вениамин» был аккредитован на съезде.

— Каким одним словом оценишь доклад? — спросил он меня.

— Думаешь, можно?

Щеглов вприщур посмотрел на меня, затянулся сигаретой.

— СА-БО-ТАЖ, старик, вот так! — И тут же отошел от меня.

Разумеется, прежнего славословия, лести в выступлениях не было и в помине. В моде была критика, и ораторы отдавали ей достаточно щедрую дань. Доставалось и

министрам, были упреки и в адрес секретарей ЦК. И только один неприкасаемый все же оставался — тот, кто всему был головой.

Осмелился, правда, первый секретарь Кызылординского обкома сказать о том, что с благословения самого Кунаева ряд полностью скомпрометировавших себя работников не только не понесли никакой ответственности, но были либо повышены в должности, либо с почетом отправлены на пенсию. Об одном из названных им — бывшим первым секретаре Чимкентского обкома узун кулак свидетельствовал, что он близкий родственник «самого». Тот же источник приписывал Аскаркову реплику, образно выражавшую суть его кадровой политики: не надо биографии, давай географию.

Ауельбеков обвинил Кунаева и в попустительстве лести и угодничеству. Вспомнил атмосферу предыдущего съезда, в которой каждый боялся проиграть предыдущему оратору по части угодничества, лести и славословия. Зал несколько раз аплодировал Ауельбекову. Тут явно обошлось без былых «операторов».

Ауельбеков выступил последним на вечернем заседании. Расходились под впечатлением его выступления. А на другой день одним из первых слово было предоставлено секретарю Алакульского райкома партии.

Перестройка в районе, судя по его словам, шла полным ходом и уже принесла ощутимые положительные результаты. Но из дальнейшего стало для всех очевидным, что вышел на трибуну (а точнее, выпустили его туда) не ради оптимистического самоотчета.

По его словам, готовясь к своему выступлению, он тщательно изучил материалы предыдущего съезда. Процитировав несколько строк из выступления Ауельбекова на том съезде (именно те, в которых он высказывал одобрение деятельности бюро ЦК), оратор патетически воскликнул:

— Так когда же товарищ Ауельбеков говорил искренне? В зале возник неодобрительный шумок, кое-где разда-

лись недружные аплодисменты. Заданность выступления была настолько очевидной, что в перерыве в курилке услышал даже такие реплики:

— Всю ночь думали, а ничего умнее не придумали.

— Отлуп сработали некрасивый.

На следующий день бросилась в глаза и такая деталь. В опубликованном в печати выступлении Ауельбекова его высказывания о попустительстве лести, угодничеству и славословию было опущено. Выпад же в его адрес алакульского секретаря опубликовали дословно. Гласность продолжала оставаться выборочной.

На съезде возникло еще несколько острых моментов, но я не ставлю перед собой задачу оценивать весь его ход. Кстати сказать, корреспонденты «Правды» в отчете о съезде под заголовком «Время требует» больше опирались на доклад Н. Назарбаева и выступление Ауельбекова, чем на основной доклад и этого нельзя было не заметить. Толки среди делегатов шли самые разные.

— Устоял аксакал. Значит, в политбюро ценят.

— Дипломат. Стратег. Авторитет. Такого, как кое-где пошло, избиения кадров не допустит...

Судя по прошедшему у нас активу, эти строки долго не увидят света. «Сам» снова на коне, а миллиард есть миллиард. Но — свидетельствую, как видел и понимаю.

ДЕКАБРЬ — МАРТ

В конце ноября вызвали в Алма-Ату на очередной журналистский сбор.

Мероприятие было проведено явно для «галочки». Доклад был тусклым, выступавшие привычно перечисляли свои беды.

Как часто бывает на подобного рода «форумах»

кое-что полезное мы извлекли из общения между собой и со столичными журналистами. Вот уж на этих неофициальных сидениях в гостиничных номерах по всем вопросам высказывались откровенно. На этот раз большой сбор был у Юрьева. О чем шумел газетный народ?

Страсти разгорелись вокруг брошенного докладчиком упрека соборам центральных газет.

— Критика, которой в последнее время подвергается республика в центральной прессе,— сказал он между прочим,— помогает устранять негативные явления. Но будем, товарищи, объективны. Не создается ли у всесоюзного читателя однобокого представления о Казахстане? У нас немало достижений, которыми мы вправе гордиться и о которых должна знать страна.

Вокруг этого тезиса в основном и ломались копыя.

— В самом деле, это уже на очернительство смахивать начинает. И за рубежом что о нас подумают?— горячился один из представителей столичной прессы.

— Знакомая песня. На чью мельницу льете воду?— тут же возразил ему один из соборов.— Знаете, что в некоторых кабинетах приходится слышать? В Казахстане перестройка в основном завершена. Были негативные явления, они преданы гласности, виновные наказаны, республика на марше. Скоро строевым начнем шаг печатать. А один деятель, когда разговаривали с ним по поводу ответа на нашу публикацию, сказал и похлеще: «Вам, работникам прессы,— говорит,— отвели роль хунвейбинов. Вы сделали свое дело. Но не забывайте, что потом с этими хунвейбинами стало». Вот так, в открытую, нагло! А вы,— спрашиваю,— не боитесь мне такое говорить?

— Нет, не боюсь, свидетелей ведь нет,— отвечает.

— Припугнул я его. У меня, говорю, в кармане японский магнитофон, не отопретесь. Струхнул, чинуша, поубавил тон.

— Ну, дураки всегда были и будут,— не сдавался его оппонент.

— Дурак — оскорбительно. Надо говорить — ярко неумный.

— И скажем неправду. К сожалению, он умен, чем и опасен. И если верх возьмут такие...

— Да кто им позволит? Мало что ли уже примеров, какие киты синим пламенем занялись. Казалось, столпы, непотопляемые были, а где они — Аскарар, Койчуманов... брата родного не пожалел.

— Жертва пешек для спасения короля, вот такая это игра,— вмешался в разговор Юрьев.— Не латать дыры, а новый кафтан шить надо, вот что я вам скажу, братцы. И — послушайте старика — не дай боже, если мы, не успев разбежаться, скажем себе «стоп». Мы только первые шаги сделали. А мысль не капуста. Это капуста дает сок, когда на нее хороший камень навалит. Мысли нужна свобода, а не гнет. Мы слишком застоялись. На местах перестройкой и не пахнет. Только-только общими усилиями начали раскачивать стену бюрократизма.

— И еще неизвестно, куда она упадет: на бюрократов или на тех, кто ее раскачивает?..

Бежали дни. Мы провели областную отчетно-выборную конференцию журналистов, избрали новое правление и делегатов на республиканский съезд.

1986-ой год близился к завершению. И вдруг ошеломляющее известие из Алма-Аты!..

* * *

Прошло три месяца. Многое изменилось в нашей жизни. Перемены эти такие глубинные пласты подняли, так многозначны по своим последствиям, что можно сказать: мы прожили необыкновенно насыщенные и плодотворные дни и месяцы, стоящие иных десятилетий. Будущий историк, прослеживая день за днем это время, найдет в нем все, что рождает крутые переломы эпох: бурную реакцию

общественного мнения, определение позиций, провозглашение и реализацию новых программ, явное и скрытое сопротивление, личные драмы и катастрофы.

Следующие далее страницы моей повести — всего лишь беглые заметки очевидца, оком которого ограничен углом обзора, уровнем компетенции и, наконец, непосредственным участием в происходившем.

Никогда раньше не видел я такого всеобщего живого интереса к происходящему. Газеты нарасхват, читают, начиная с первой, официальной страницы.

Как журналист, не могу не отметить такую особенность публиковавшихся материалов: они излагались живым, ясным, точным языком. Исчезли напрочь заштампованность и велеречивость — неизбежные следствия скудости мыслей и усердия канцеляристов. Простая, как хлеб, нужная всем, как воздух, правда обходится без ходуль, живая мысль ищет свежее слово.

Сжать время, действовать засучив рукава — так была сформулирована главная задача дня. Генерируя новые идеи, штаб республиканской партийной организации предлагал и реальные пути их воплощения в жизнь. Взялись прежде всего за такие, из пятилетки в пятилетку усугублявшиеся в своей неразрешимости вопросы, как обеспечение населения продовольствием и жильем. Были определены, казалось бы, немыслимые задачи: в ближайшее время покупатели должны реально ощутить увеличение поступления продуктов питания в магазины, к девяносто первому году обеспечить квартирами всех, стоящих в очереди на 1 января 1987 года. Ликвидировали закрытые распределители, которые незаконно насоздавали в различных конторах, учреждениях, министерствах и ведомствах, где оседало около трети дефицитных продовольственных товаров.

Разумеется, одним перераспределением ни продовольственные, ни жилищные проблемы полностью не решались. Но само по себе оно явилось актом восстановления

социальной справедливости, укрепляло веру в наказуемость зла. Были выработаны трудные, но реальные программы по улучшению снабжения населения продовольствием и строительству жилья. Но программы, как известно, и раньше составлялись...

* * *

Не берусь судить, как где, а у нас срабатывает еще принцип затухающей волны, или, как с большей экспрессией утверждает молва: у нас что в бору — вверх шумит, а внизу тихо.

Нет, конечно, не следует понимать все буквально. Перемены происходят. Сейчас ни для кого не секрет, что заорганизованность, мелочная регламентация, введенная в принцип бездумная исполнительность обюрокротили партийные комитеты на местах. Кто-то в этом и видел высший смысл своего представительства в партии, другие волей-неволей приспосабливались к существующему порядку вещей. Наверняка, многим не хочется расставаться с устоявшимися порядками, обкатанными приемами работы. Не одному, надо полагать, приходится выслушивать сетования жен на эти дикие новые порядки, когда глава семьи вдруг лишился закрытого распределителя, на его персональной машине нельзя проехать по базарам, съездить на дачу. Но дисциплина для всех одна, и кто и что бы про себя ни думал об этих новых порядках, открыто нарушать их не рискует. Становится неприкрытым поручать прием посетителей заместителям, помощникам, референтам; первым руководителям приходится (опять же хотят или не хотят они!) учиться разговаривать с людьми. И если не в их власти положительно решить все вопросы, по

крайней мере, остроту нужд народа они начинают чувствовать, лично убеждаться в том, какая образовалась пропасть между тем, что они провозглашали в речах и что есть в жизни. И уже не всякий решается выходить на трибуну с речами в прежнем духе: явно без почтения выслушивают их. Покруче начинают спрашивать с руководителя за всякого рода злоупотребления.

Новое пробивает дорогу, но медленнее, чем надо бы. А кто виной тому? Попробуй однозначно ответить. Со всех трибун, на всех уровнях повторяется: начинать каждому надо с себя. Но слишком многие все-таки лукавят, адресуя этот призыв другим, а не себе. Нужны руководители с новым мышлением. А они нигде стройными рядами не стоят в ожидании, когда их призовут действовать. Их немало среди тех, кто давно возглавляет различные участки работы и время перестройки приняли как благословенную пору воплощения выношенных, а порой и выстраданных устремлений. Других надо готовить, учить. Третью надо найти — на то и новые права трудовым коллективам, утверждение характеристик, гласность в работе с резервом.

Да ведь и не от одних руководителей время требует новых подходов, нового уровня ответственности.

Слышал от одного хозяйственника такую байку.

Установили на обувной фабрике новейшее импортное оборудование, взяли за образец модели лучших зарубежных фирм, закупили зарубежную же фурнитуру. А обувь фабрики по-прежнему не пользуется у покупателей спросом. Спросили у директора, чего же ему не хватает?

— Зарубежных рабочих, — ответил тот.

Скажите, не с дружеского голоса такая погудка? Оскорбительная для чести советского рабочего? Но будем реалистами. Бахвалась тем, что советские микрокомпьютеры самые крупные в мире, советский патриотизм не воспитать. Оскорбительно для чести советского рабочего выпускать некачественную продукцию, брак, а того и

другого у нас завалы. Первые шаги госприемки поставили на грань банкротства не одно предприятие. И не только по вине поставщиков, отсталой технологии, устаревшего оборудования. Не сбросить со счетов и то, что привыкли иные поменьше работать, побольше получать, гнать халтуру; к порядкам, когда и левый заказ можно выполнить и вынести с предприятия дефицитный материал, готовое изделие. Есть немало и таких, чья философия выражается нехитрой формулой — лучше за рубль лежать, чем за десять бежать. Для них перестройка — не сахар.

В ЦК КПСС обратился с письмом машинист роторного экскаватора объединения «Каражаруголь» Холмогоров Иван Петрович. Рабочий сообщал, что его бригада из передовых перешла в хронически отстающие. Все это, как он считал, случилось потому, что объединение имеет избыток добычных мощностей. Роторные экскаваторы, эти самоходные шахты, как их иногда называют, простаивают по графику, т. е. планово выводятся из работы. Это позволяет предприятию в любом случае выполнять план, но ценой простоя мощной техники и снижения производительности труда каждого работающего. От имени бригады Холмогоров предлагал сократить добычные мощности и дать полную нагрузку на оставшиеся. С этим письмом ознакомил меня наш второй секретарь обкома Аубакиров.

— Говорят, — сказал он, — в степи, в некоторых дальних местах, и два и три года спустя после семнадцатого года никто ничего даже и не слышал о революции, о том, что давно нет царя, создана новая власть. Порой кажется, что у нас тоже до сих пор не везде знают, что в стране идет перестройка... На днях еду на встречу руководства объединения с рабочими в связи с этим письмом.

Мы договорились поехать вместе.

За полчаса до начала встречи был короткий разговор с генеральным директором объединения Гуженко.

— Скажите нам пока по секрету, прав Холмогоров, ставя вопрос в такой плоскости? — спросил Аубакиров.

— Бригадный эгоизм, — покривился Гуженко. — Бригадир, а вместе с ним и вся бригада, привыкли к славе и хотят еще большей. А слава им нужна, чтобы претендовать на климат наибольшего благоприятствования, то есть, в конечном счете, хотят зарабатывать больше других.

— Так и скажете на встрече?

— Ну, такое скажи... нет, мы продумали тактику.

— Значит, один пишем, два в уме? А почему не начистоту?

Гуженко неопределенно повел плечами, о чем, мол, говорить, понимаете вы все.

И вот — встреча. С одной стороны весь «генералитет» объединения. Люди высокой горняцкой грамотности, командиры крупных подразделений. А в зале гвардия предприятия, люди именитые, отмеченные высокими наградами, умеющие и уголек стране давать и постоять за свои интересы.

Собравшихся ознакомили с письмом Холмогорова. И начался разговор. Опускаю его специальную часть.

Рабочие и бригадиры высказались обо всем наболевшем. Технический директор, главный инженер объединения Анатолий Николаевич Шахов ознакомил их с разработанными на перспективу мерами по уменьшению диспропорции между планом добычи угля и суммарной мощностью экскаваторного парка.

Позиции были выяснены.

Без резерва мощностей в разумных пределах (а они предусмотрены специальными инструкциями) не обойтись. При громадной единичной мощности машин выход из строя одной из них неизбежно приведет к срыву выполнения плана. Но совершенно недопустим простой экипажей. Резерв техники должен быть, резерв людей не должно

быть. Необходимо гибкое планирование. Эти вопросы решаются и будут решены.

Решаются и будут решены. Все вроде стало ясно. Оставался обойденным один, но, пожалуй, самый главный вопрос. По нему и высказался Аубакиров. Почему такой разговор состоялся не до, а после письма в высший орган партии? В ЦК письмо потому и было направлено, что в парткоме объединения, в горкоме, куда обращались рабочие с просьбой решить волнующие вопросы, не сочли нужным или не сумели досконально во всем разобраться. Сработала замшелая привычка считать, что рабочие должны исполнять, а думать за них — те, кому это по рангу положено. Прославленная бригада перешла в ряд отстающих, но никого это не взволновало, никто не счел это за ЧП. И письмо, этот крик души рабочих, потому и написано было, что они хотят, чтобы вопросы решались не в будущем, а сегодня, сегодня работать так, как они могут. Будь все так, видимо, не пришлось бы искать ответы на свои вопросы столь далеко. Без доверия, взаимопонимания, полной информированности невозможно подлинное участие рабочих в управлении.

Возвращаясь поздним вечером домой, мы с Аубакировым «подбивали бабки».

— Вроде разговор получился начистоту, как вы думаете, Сакен Аубакирович?

— Полезный разговор. А все же — начистоту ли? Ведь вот о бригадном эгоизме притаил Гуженко, камень за пазухой оставил. А есть он, этот эгоизм, и это тоже проблема. А раз есть проблема, надо ее решать. Именно разговоры начистоту нужны сейчас на всех уровнях — между членами трудовых коллективов, в партийных, профсоюзных, комсомольских организациях, между рабочими и министрами. Чтобы не оставалось никаких недомолвок, невысказанных обид, затаенных мыслей. Чтобы, вопреки поговорке, вымести сор из нашей государственной избы.

А вместе с тем — и сор из душ.

— Не всем руководителям по плечу такие разговоры. Одни не сумеют, другие побоятся, третьи выжидают, пронесет, мол, всякое было и это не вечно.

— В том-то и вся трудность. Немало еще в руководящих креслах таких, которые попросту не могут воспринимать новое. Менять их надо. Но как же все не просто...

Он увлекся, видимо, думает об этом неотступно. Да и практически кадровые вопросы приходится решать ежедневно.

Из дорожного его монолога.

...Срабатывает привычка искать новых руководителей по старым номенклатурным спискам. Вот и переставляем одних и тех же с места на место. Помните, какую подвижку кадров ожидали, какое обновление аппарата, когда создавали агропром? Думали, многие специалисты уйдут непосредственно на производство, к управлению призовем с мест инициативных практических работников. В коридорах облсельхозуправления, облсельхозтехники, облплодоовощторга сильно отдавало тогда валерьянкой. Но ничего не случилось: сменилась лишь вывеска, да кабинеты пришлось осваивать новые. Те же люди тут же принялись внедрять простыни новой статотчетности, по которой можно иметь ясное представление о делах на подведомственных участках в любом разрезе, хоть вдоль, хоть поперек, а случись надобность, и наискось.

...Не карты перетасовывать, судьбы людские решать. Тот и не тянет, но куда его с таким послужным списком пристроить? Он ведь кроме аппаратной работы ничего не умеет, ни с какой неруководящей работой не справится. Этому до пенсии два-три года осталось, персональной не получит, а ведь выслужил ее, придется потерпеть. В отставку сам никто не подает — не в обычае расписываться в собственной несостоятельности, ибо нет альтерна-

тивы, уравнивающей добровольный отказ от благ, гарантированных должностью. Да и по-человечески рассудить: у многих ли достанет не только мужества, но и просто самокритичности, чтобы сказать себе: этого ты не умеешь и уже никогда не научишься, уступи место другому. Что ни говори, а все мы склонны приятно заблуждаться на свой счет. Так и вяжется к жизни одно к другому, рвать — жалко, распутывать — канительно. Да попробуй еще разобраться, кто чего стоит. Послушаешь — все за перестройку. А говорят так, что если по речам судить, иных хоть к ордену представляй. Не заболтать бы нам перестройку...

Дорога была неблизкой. Отвел душу секретарь и замолк, видно, укачало его.

По части говорения мы действительно преуспели. Новый стиль работы еще не очень заметен, зато новый стиль речей утвердился прочно. Да и тот, похоже, начинает отливаться в стереотип на все случаи жизни: осуждение прошлого, бодряя констатация перестройки как веления времени, а что касается будущего — разрешите заверить.

В далекие пионерские годы, бесповоротно постигнув, что бога нет, а икона — пережиток прошлого, мы с сестренкой сделали бабушку объектом атеистической обработки. Икону она, поплавав, сняла и куда-то спрятала. Но и многие годы спустя видели мы, как и в горе и в радости поворачивалась она лицом к тому углу, где когда-то была икона, крестилась и что-то про себя шептала. Вот и мы с нашими бодрими речами не в пустой ли угол начинаем, по привычке, молиться? Бюрократическая машина у нас так громоздка, что перемелет все, что попадет на ее жернова.

Как-то в журнальной смеси попалась на глаза любопытная информация. В Бразилии для искоренения бюрократизма учредили специальное министерство. Прошло совсем немного времени и министерство полностью обюрократи-

лось. Его прикрыли. Ищут другие пути искоренения. Вот ведь как.

В свете фар бежала навстречу серая лента асфальта. Перестройка-перестройка, у всех ты в думах, у всех на устах...

* * *

Еще об одной примете перестройки — гласности. Трудно она дается на местах. Если зло неизбежно, с ним приходится сосуществовать, но не забывать и беречься. Опасливая настороженность к гласности, особенно к печати, так сказать, витает в коридорах местной власти. Несомненно и другое — сужу об этом не в порядке предположения, не раз приходилось слышать довольно откровенные высказывания на сей счет, — живет у многих тайная, но крепкая надежда, что новое поветрие, как и всякие иные кампании, стихнет, сойдет на-нет, останется от него лишь повод в торжественных случаях произносить правильные слова.

Но поветрие не проходило, а лишь набирало силу. Естественно, вырабатывали новые подходы, увереннее начинали чувствовать себя и журналисты нашей газеты. Был сделан первый прорыв на новый уровень критики. В одной, другой статье мы слегка еще, но все же задели первых секретарей райкомов.

«Узун кулак» существует везде. Стало известно: на рабочем совещании, которое проводилось в обкоме с первыми секретарями райкомов, «аксакал» среди районных секретарей, видимо, уполномоченный коллегами, спросил:

— Это что же получается, областная газета уже позволяет себе первых секретарей шпынять, как мальчиков.

Нам ведь там с людьми работать. Задача такая перед редакцией поставлена или они там сами все решают?

И получил ответ:

— Гласность, сами понимаете. Считаться с этим приходится. Впрочем, отделу надо смотреть...

Начавшаяся в республике с декабря интенсификация перестройки, как уже об этом приходилось говорить, дала новый импульс гласности. Но все же поначалу в ее фокусе были дела столичные, и кое-кто питал надежду на то, что энергия «непогоды» вся и уйдет на раскачивание вершин.

Тут новое событие — январский 1987 года пленум в Москве. Именно событие, ибо хотя пленум ожидался, и в ходе подготовки к нему высказано было немало новых идей, но острота постановки вопросов на пленуме и принятая на нем программа всесторонней демократизации общества превзошла самые смелые прогнозы. Даже за рубежом пленум назвали историческим.

Но вот какой парадокс случился: именно после этого пленума, по крайней мере в определенных кругах Светловодска на какое-то время возобладала уверенность в том, что гласность, а значит печать, начинают, наконец, приструнивать.

— Ну что, кажется, вам сказали: ша, ребята? — полувопросительно-полуутвердительно обратился ко мне мимоходом один из заведующих отделом обкома.

— С чего это вы взяли?

— Ну как же, на последнем пленуме это довольно явственно прозвучало...

Я перечитал материалы пленума, да ничего подобного! Ну говорилось о необходимости более широкого показа в печати передового опыта работы, о том, что средства массовой информации не являются зоной закрытой для критики, — так это ж все естественно, справедливо и никакого подтекста здесь и в помине нет.

Откуда задул такой ветер, я понял чуть позже. На

очередном аппаратном совещании в обкоме первый секретарь поделился своими впечатлениями о пленуме. Информация была до обидного краткой и неинтересной.

— С материалами пленума, — сказал он, — все знакомы, и я пересказывать их не буду. Отмечу, что возник вопрос о некоторых вольностях и перехлестах, допущенных в последнее время средствами массовой информации. Как понимаете, вопрос наболелший, чрезвычайно важный. Критика должна быть конструктивной. Критика нужна, но всему есть пределы. Демократия — не демагогия.

Он обвел взглядом присутствующих и повторил:

— Демократия — это не демагогия.

И — все? Да, больше ничего от него как участника такого пленума мы не услышали. И то, что именно это и только это он нашел нужным сообщить аппарату, выдавало его затаенное, но непреодолимое неприятие гласности. А ведь на аппаратном присутствовали люди, привыкшие воспринимать все, что исходит от первого секретаря, как истину в последней инстанции и «делающие погоду» в области. А итог уравнивания «Да... но...» зависит ведь от того, кто проставляет в нем величины. Я заметил, как некоторые из присутствующих, кто с улыбкой, кто многозначительно, бросили взгляды в мою сторону: что, мол, редактор, осаживают вашего брата?

Шло аппаратное совещание; где слова первого положено выслушивать как установки. Демократия, действительно, не демагогия. Но, думал я, фразу можно с таким же успехом прочитать и с конца: демагогия — тоже отнюдь не демократия.

Вскоре было опубликовано сообщение о встрече М. С. Горбачева с руководителями средств массовой информации, внесшее в этот вопрос ясность. Вожделенного для закоренелых недоброжелателей гласности «ша», «осади назад» не прозвучало. Просто желаемое кое-кто поспешил принять за действительное. Нельзя одновременно дуть и втягивать в себя воздух! Этот отличный афоризм кажется

здесь вполне уместным. Перестройка, приобретая необратимый характер, не может обойтись без рычага гласности.

Рассказывая об этом эпизоде, не хочу изобразить одних злоумышленниками, а себя перестроившимся на все сто процентов. В силу служебного положения, жизненного опыта одни смотрели на вещи по-своему, я — со своей колокольни, — несколько иначе. И перестройка всех нас учит и переучивает не вдруг, кого медленнее, кого быстрее.

Газета становилась все зубастее. О том, что она имеет своего читателя, свидетельствовала и прошлогодняя подписка — тираж вырос более чем на тридцать тысяч экземпляров.

Здесь не место отчитываться о работе нашей редакции, скажу лишь, что мы действительно не только ратовали за перестройку, но и перестраивались. А все же многие наши усилия уходили словно в вату: и сопротивления вроде нет, и живого отклика не дождешься. Мы совершенствовались свое оружие гласности, совершенствовались и способы защиты от нас. Отмолчаться, отписаться, заволокитить, спустить на тормозах, ухватиться за допущенную неточность, словом, тысяча и один способ.

Тут корни уходят глубоко. В прекрасно устроенном общественном механизме, где людям отводилась роль винтиков, журналисты издавна ходят у нас в подручных, а журналистика — не более как приводной ремень. Из самой терминологии явственно просматривается удел газет и роль редактора. Говорят, редактор должен быть смелым. Но почему права печати должны зависеть только от смелости редактора? Все-таки должны быть какие-то правовые гарантии для смелости? А так... Работает у нас в редакции курьером Берта Готлибовна, «Бертолет», как зовут ее острые на язык журналисты. В трудовой книжке у нее всего одна запись: шестнадцатилетней девчонкой пришла она в редакцию курьером и до сих пор, уже прихрамывая, все носится по этажам, из редакции в типографию, из типографии

в редакцию. Перебирая в памяти бывших редакторов, сбивается со счета и твердо заключает:

— Всех не упомнишь. Одно только точно: ни один добром не кончил.

Вот такая статистика.

Не будем кривить душой: именно из-за отсутствия твердого закона о печати она всегда шла в предписанном ей русле. И ни для кого уже не секрет, что громкие слова, которыми мы так долго тешили себя и других, будто наша печать была правдивой летописью жизни народной, не более, чем слова. В «металл отлитые строки» на разных этапах нашего развития несли немало дезинформации, приукрашивали действительность, умалчивали о правде, разжигали массовые психозы, способствовали укоренению и культов и застоя.

Сейчас, как говорят, газетам дали волю. Но то, что дали, могут ведь и забрать. И если все останется так, как есть, рано или поздно газеты снова перейдут в разряд приводных ремней, станут зеркалами с управляемой системой отражения, т. е. в той степени приближения к болевым точкам действительности, какую найдут нужным дозволить управляющие этой системой.

Почта редакции заметно выросла. И письма стали острее, содержательнее, конструктивнее. Но вот что настораживает. Больше стало и анонимных писем, в основном с обвинениями во всяких грехах должностных лиц всех рангов от бригадиров до работников областного масштаба.

Анонимный поклев отсюда, из тех, недоброй памяти, времен, когда предписывалось всех держать на подозрении. Тот враг народа, этот — сын врага, третий в оккупации или в плену был, у четвертого с сопроисхождением нечисто, пятый-десятый — генетик, кибернетик и т. д. без конца. Оклеветать человека чуть ли не в доблесть ставилось.

... И все, казалось, не хватало
Стране клейменных сыновей.

И не надо утешаться, что это было давно. Во-первых, не так уж давно — на памяти живущего поколения. А во-вторых, тут, применительно к общественному сознанию, связь чуть ли не генная. Карамзин, характеризуя эпоху Ивана Грозного, замечает террор «губительною рукою касался самых будущих времен: ибо туча доносителей, клеветников, крошечников, им образованных, как туча гладоносных насекомых, исчезнув, оставила злое семя в народе».

Связь времен... Эти слова не пустое и не однозначное понятие выражают. По-разному она проявляется и в добром и в злом.

В начале пятидесятых знал я некоего Федулова, кадровика особой, тех времен, закалки. Была у него общая толстая тетрадь, в которую он что-то изо дня в день записывал.

Я полюбознствовал, не роман ли он пишет.

— Гм, роман не роман... А всю жизнь записываю. Зачем, говоришь? Эх, молодозелено. А вот вдруг призовут меня, куда положено, и спросят. А где ты, дорогой товарищ, был, к примеру, десятого октября одна тыща девятьсот сорок девятого года? Что делал, с кем встречался, какие разговоры вел? А я возьму тетрадочку, полистаю, и — пожалуйста! Десятого октября одна тыща девятьсот сорок девятого года был там-то, встречался с тем-то, разговаривали вот о чем. Понимаешь? И скажут мне, что ж, все точно, наши сведения подтверждаются, чист ты перед народом, иди гуляй себе...

Вот откуда, как эстафета, пришла эта страсть, эта привычка благосклонно преклонять слух ко всякому навету. А для этих, кого и по именам называть не хочется, о которых мы теперь все знаем, занимавших высокие посты и переродившихся в хапуг, взяточников, казнокрадов, — для них анонимки просто необходимы были. Надо же им было хоть какую-то видимость полезной деятельности демонстрировать, а тут все на блюдечке преподносилось. Ни великих

трудов, ни великого ума не требовалось, чтобы отреагировать на сигналы, принять меры, отпартовать наверх.

Мы много пишем и говорим сейчас о необходимости преодолевать стереотипы мышления. Призывать к этому других легко. А как преодолеваем мы стереотипы собственные? Эта задача труднее. Все мы дети своего времени и крепко сидит в нас множество этих самых стереотипов.

На планерке один из сотрудников сообщает, что его приглашают присутствовать на собрании инициативной группы, деятельность которой не одобряется городскими властями.

— Нечего делать там! — с ходу заявляю я. — Мы не желтая пресса. Пусть занимаются ими те, кому положено...

Увы, не сразу понял я, что сработал как унтер Пришибеев — разойдись, не толпись! А почему, собственно, представителю редакции не быть там, где драка, пожар, авария, митинг, демонстрация? Наоборот, как тот пожарник, который должен быть на месте пожара за пять минут до пожара, журналист обязан быть в гуще событий, чтобы судить о них по собственным впечатлениям.

Как-то мы занялись своего рода инвентаризацией наших рубрик и заголовков. И вот что «открыли». Оказывается, многие годы мы издавали какую-то «фронтую» газету.

Битва за урожай, животноводство — ударный фронт равнение на трехтысячниц, трудовые победы, гвардейцы, правофланговые соревнования; наши герои штурмуют высоты, берут рубежи, закрепляются на них, маневрируют осуществляют прорывы, подтягивают тылы... Война и война, битвы и бои мирового и местного значения. И даже в такой деликатной сфере, как идеология, у нас речь идет об идеологическом обеспечении всякого рода кампаний, битв, а осуществляют его «Бойцы идеологического фронта». И надо сказать, эти рубрики, заголовки, словосочетания не собственно наше изобретение, они суть патентованные формулы всех газет, в недавнем прошлом.

Укоренение всей этой милитаризованной терминологии представляется теперь не просто невинными стилистически-терминологическими погрешностями. Эта терминология — по большому счету — отражение командно-административной системы управления экономикой, социальной и духовной жизнью общества, отражение образа нашего мышления, предопределяющего и содержание наших писаний. Взятие рубежей, штурмы высот, битвы, удары и т. п. в основе имеют приказ, директиву, требуют не размышлений, а исполнения. Приказы не обсуждают, а выполняют, отсюда рукой подать и до более глубокой мысли: «нам с тобою думать неча, если думают вожди».

Новые формы хозяйствования в условиях радикальной экономической реформы, новые формы управления, поворот к социальным нуждам людей, к их внутреннему миру, духовной жизни требуют от нас демократизации в способах подачи материалов, аналитичности, доверительности, диалога, уважения к мнениям других, культуры, деликатности, исповедальности. А это новое качество журналистики, которое не вдруг дается.

УЧИМСЯ ДЕМОКРАТИИ

Нередко приходится слышать: слишком круто берем, как бы не наломать дров. Другие брюзжат: как было, все так и есть. Вспоминается софизм, известный с древних еще времен: стрела летящая не движется. И хотя с точки зрения здравого смысла утверждение абсурдно, логически оно доказуемо. Ибо в каждый отдельно взятый бесконечно малый отрезок времени стрела находится в какой-то определенной точке, то есть в покое. Сумма моментов покоя не может дать движения.

Перестройка — та же стрела летящая. Она идет, дробясь в бесчисленность наших повседневных дел и забот. И мы не замечаем, как что-то меняется вокруг нас, в чем-то меняемся мы сами. Но есть у перестройки и свои шаги, точки отсчета. календарные сроки. Ввели на предприятии осприемку — переломный момент для трудового коллектива. Взяла бригада арендный подряд — жизнь ее идет в новом русле. Принят Закон о государственном предприятии и прежними категориями мыслить уже нельзя.

Процессы, происходящие в сфере духовной, не столь явственны. Не скажешь: после такого-то мероприятия совесть появится даже у тех, у кого ее отродясь не водилось. Алкоголизм и пьянство, к примеру, не удалось пока одолеть. Безусловно, кое-какие плюсы налицо. До Указа обычным делом были у нас официальные застолья по бесчисленным поводам. На гостевые мероприятия выписывались фиктивные наряды, премии, гонорары, расходовались лечебные и культурные фонды. Сейчас уже можно сказать: официальное пьянство, банкеты за казенный счет стали неприличными, как тому и должно быть. Атмосфера нетерпимости создана и к появлению в нетрезвом виде, а тем более распитию спиртного на работе.

Но и крупных неприятностей немало уже нажили, фантастические очереди за спиртным черный юмор окрестил демонстрациями в защиту зеленого змия. Давно известно: дефицит рождает спекуляцию. У нас милиция недавно накрыла группу «ночных коробейников», продававших на железнодорожной станции алчущим пассажирам водку по двойной цене. Невероятно, но факт: один из них оказался.. врачом-наркологом. Вот что значит глубоко знать свою клиентуру!

Пьянство ушло в быт. Рванула вверх кривая самогонварения, возросла токсикомания. На самогонщиков в иных местах начали охотиться с собаками. В Светловодске не было перебоев в продаже сахара, но в почтовых отделениях ввели досмотр посылок — нельзя вкладывать сахар! О каких

гражданских правах тут можно говорить?

Вера в благотворительную силу запретов, командно-административные подходы — в который раз! — обнаружила полную свою несостоятельность. Нельзя новое вино вливать в старые мехи, да простят мне использование этого образа в антиалкогольных рассуждениях!..

И все-таки недавно произошло событие, после которого мы можем сказать себе: одним уродливым явлением в нашем обществе станет меньше. Я имею в виду Указ Президиума Верховного Совета СССР, гласящий: «Письменное обращение гражданина должно быть им подписано с указанием фамилии, имени, отчества и содержать помимо изложения существа предложения, заявления, либо жалобы также данные о месте его жительства, работы или учебы. Обращение, не содержащее этих сведений, признается анонимным и рассмотрению не подлежит».

Рассмотрению не подлежит... Негативное отношение к анонимным письмам давно уже витало в общественной атмосфере. Анонимщиков обличали с трибун, бичевали в фельетонах. А они только посмеивались втихомолку в своих потаенных углах да строчили новые клеюзы. Знали, им внимают, их письма ложатся на столы руководящих работников, проверяются, подшиваются в личные дела тех, на кого они написаны. Знали, яд их клеветы, если не сразу, то капля по капле доконает жертву. Знали, их трудно поймать за руку, да и ловить никто особенно не пытается.

С ходу пристроились они и к тем переменам, отсчет которым мы ведем с апреля 1985 года. Их писаниям все еще по инерции внимали, хотя уже и с явной брезгливостью. Все еще довлел над нами растлевающий опыт юридической вседозволенности: дыма без огня не бывает; если в письме пять процентов правды, оно уже заслуживает внимания; пусть пострадает десять невинных, чем останется безнаказанным один виновный.

Быстро овладев новой терминологией, любители аноним-

ных доносов даже активизировались: теперь де гласность, теперь демократия. А демократия между тем возможна только при строжайшем соблюдении законности. Мы слишком хорошо знаем, какой ценой обошлись нам отступления от нее: забвение принципа презумпции невиновности, судилища без защиты, пресловутое «телефонное право».

Иногда раздавались (и по сей день раздаются) голоса в защиту анонимщиков. Человек де видит безобразия, но боится преследований, мести, вот и вынужден сигнализировать тайно, анонимно. Нет уж, избавь бог от тех, кто зовет нас вперед, отсиживаясь в кустах. От таких недолго и удара в спину дожидаться — чего не сделает человек с перепугу. С кривым ружьем на борьбу за правду нечего выходить.

Уходит в прошлое целая эпоха, озаглавленная и таким злокачественным образованием, каким был «институт» анонимного сигнализирования, тайного доноительства. Мы расстаемся с трибунной риторикой, с лестью и угодничеством, с безгласностью. Без сожаления расстанемся и с анонимкой — этим отравленным оружием. Нравственная атмосфера станет чище.

Недавно в Светловодске завершилась одна нашумевшая история.

Для начала — небольшая справка. С севера вплотную к жилой зоне Светловодска подступает мощная ТЭЦ, машиностроительный, химический и другие заводы. На востоке к городу «причалил» многотрубный гигант — цементный завод. На юго-западе маячат трубы Иртышской ГРЭС. Откуда бы ни дул ветер (а ветра здесь гуляют круглый год), вредных выбросов из этого индустриального ожерелья хватает. На снимке из коемоса район Светловодска выглядит черной кляксой, расползающейся по степи.

Наша газета опубликовала интервью с директором намеченного к строительству в Светловодске завода белково-витаминных концентратов (БВК). Добрая половина интервью была посвящена вопросам экологической без-

опасности будущего завода. Директор в своих ответах заверил, что, являясь последним в серии предприятий подобного рода, Светловодский завод будет наиболее совершенным с точки зрения его экологической безопасности.

Быть бы в Светловодске еще одной трубе, но тут в городе Кириши Ленинградской области остановили завод БВК. Корреспонденцию о ситуации в Киришах опубликовали «Известия». Киришский инцидент в Светловодске сработал как детонатор. Давно копившееся недовольство сложившейся экологической ситуацией разрядилось потоком писем в различные инстанции с протестом против строительства завода БВК.

Наша газета опубликовала обзоры писем, пообещала командировать в Кириши, чтобы на месте во всем разобраться, своего специального корреспондента. В Светловодск прибыла группа ученых-микробиологов во главе с заместителем министра медбиопрома. Представители ведомства провели встречи в обкоме, облисполкоме, с работниками средств массовой информации. Пропагандируя свое детище, они обвинили журналистов в экологическом невежестве, тенденциозности и разжигании нездорового ажиотажа. Однако их заверения в полной безвредности будущего завода в Светловодске воспринимали без энтузиазма. Облисполком отказал в привязке завода в северной промзоне города. Представители отбыли, не теряя надежды «дожать» местные власти сверху.

Калашников остался верным своему пониманию роли гласности и демократических начал. От него последовала команда: дальнейшему обсуждению в газете вопрос о строительстве завода БВК не подлежит, позиции де выяснены, все будет зависеть от того, как решат «верха». Разжигать страсти ни к чему.

Могущественное ведомство между тем не бездействовало. Ссылаясь на таинственные звонки сверху, в обкоме мне советовали — опубликуйте материалы ученых в пользу завода и дело с концом. Я совету не последовал.

Замолчала газета, власти выжидали, как решится вопрос в «верхах», а общественное мнение продолжало бурлить. В различные инстанции шли письма, активизировалась инициативная группа, в городе шел сбор подписей под петициями, множились тревожные слухи о том, что завод уже строится, построен, были выбросы белковой пыли. Полугласность обернулась дезинформированностью населения.

В уже стлавшийся понизу огонь масла подлили публикации в республиканской и центральной прессе. Недоумения и тревог добавилось, в обком, облисполком, редакции хлынул новый поток писем. И надо сказать, основания для недоумения и тревог были. В одной публикации утверждалось, что БВК всего-навсего порошок с приятным хлебным запахом. Нечто прямо противоположное вытекало из другой публикации: в Светловодске намечено строительство предприятия-монстра, аналогичного киришскому заводу, а местные власти заняли выжидательную позицию, и только молодежная инициативная группа бьет тревогу.

Такая вот амплитуда оценок. Отчего же случилась такая разногласия в публикациях, вышедших одновременно в разных газетах? Ответ лежит на поверхности: в заданности позиций авторов. Один задался целью «утихомирить нездоровые страсти» и всю систему доказательств подстроил под эту концепцию. Другой исходил из благого намерения показать достойный подражания пример гражданской активности вожака молодежной инициативной группы. Автора соблазнил прием контраста: его герой будет выглядеть тем лучше, чем с большим злом он борется и чем большее безразличие к этому злу проявляют другие.

Обе эти публикации только обострили проблему и на сей раз привнесли-таки в нее элементы «нездорового ажиотажа» (при всей нелюбви к этому патентованному словосочетанию вынужден воспользоваться им).

Жители Светловодска к тому времени имели уже доста-

точно полное представление о том, что стоит за аббревиатурой БВК. И если публикации, подтверждавшие их опасения, находили благодарных читателей, то выступления в пользу завода воспринимались однозначно: технократический подход к решению проблемы может восторжествовать, с мнением общественности считаться не намерены и не будут.

Возникла непростая ситуация, на некоторых предприятиях прошли митинги назревала демонстрация. Надо было срочно поправлять положение. Самым простым и надежным средством оказалась все та же гласность.

Наша газета опубликовала подборки материалов, предоставив возможность высказаться ученым-микробиологам, специалистам природоохранных служб, своему специальному корреспонденту, представителям общественности, местное телевидение показало документальный фильм, снятый в Киришах. Не стали делать секрета и из позиции облисполкома, заключающейся в том, что для строительства завода БВК в области можно найти площадку, исключаящую его экологическую опасность для населения. Признали права гражданства и за инициативной группой.

Но «унять» страсти вокруг БВК только обнародованием всех точек зрения оказалось уже невозможным. В редакцию, в областные, республиканские, центральные органы власти шли и шли письма, телеграммы, петиции. Необходимо было принимать решение по существу вопроса. Недавно такое решение высокими инстанциями принято: учитывая сложившуюся экологическую обстановку в городе и общественное мнение. Медбиопрому СССР отказано в привязке завода БВК к северной промзоне города.

Вот такая случилась история. Тут есть над чем поразмышлять.

Прежде всего с полной определенностью выявилось что общественное мнение стало реальным действующим лицом участником решения жизненно важных вопросов

социального развития общества, и не считаться с этим впредь нельзя. Наиболее активные его представители прошли небольшую, но все же школу гражданственности, нажили пусть небольшой, но все же опыт общественной деятельности не по принуждению, а по убеждению. И что-то из этого опыта войдет в сознание людей, станет частью их мировосприятия и нормой поведения.

Не менее важный урок состоит в том, что проблемы и сложности нарастают всякий раз, как только гласность подменяется полугласностью, демократия — видимостью демократии. Отводить общественному мнению прежнюю роль — единодушно одобрять уже сформулированные мнения, значит, не понимать сути перестройки. Нужно не на словах, а на деле, без оговорок и усечений идти на сотрудничество с общественным мнением, признавать его правомочность.

Надо полагать, извлекут из этой истории уроки для себя и ведомства, осуществляющие строительство экологически небезопасных предприятий. Пора им избавляться от технократического высокомерия по отношению к общественному мнению, считать, что только им принадлежит монополия на решение вопросов, затрагивающих жизненные интересы трудящихся. При нынешней информированности общества эти аргументы не только не срабатывают, но и раздражают. Всем известно, что и Поворот обосновывали ведомства, и Байкал на грань гибели поставлен ими же. Все знают, как аукнулся Балхашу Капчагай, что случилось с Аралом. Светловодцам далеко за примерами ходить не надо: они каждодневно ощущают, к чему приводит укоренившаяся в практике экологическая безответственность руководителей и специалистов действующих предприятий.

Поучительна вся история, о которой идет речь, и для нас, работников средств массовой информации. Журналисты по роду профессии поборники и служители гласности. Но они же сами могут дискредитировать ее, если, по указанию ли сверху или по собственному недомыслию,

станут грешить против истины. Компетентность и ответственность становятся главными критериями в работе журналистов.

Не будем идеализировать и все то, что в этой истории выдавалось за «глас народа». Школу демократии надо проходить не только «верхам», но и «низам».

Группа читателей нашей газеты, подписавшихся «Молодые зеленые», заканчивает письмо так: «Давайте проведем референдум! Слабо?»

Ну, что сказать на такие, пусть уж извинят меня «Молодые зеленые», детские предложения? Напомнить, что в вечевой колокол ударили лишь во дни «торжества и бед народных»? Что демократию не следует превращать в игру? Во всем нужна мера. В противном случае легко переступить ту грань, которая отделяет истинную свободу слова и действий от бузотерства, неконтролируемого поведения.

«Имеем право» — эту бесспорную истину не следует превращать в расхожее заклинание, иначе можно и в социальную истерию впасть. В самом деле, разве можно, как это сквозит в иных высказываниях и письмах, остановить технический прогресс? Возврат к патриархальной идиллии — пустая утопия. Нельзя совсем не считаться с географической и экономической целесообразностью размещения производительных сил. Не построить плотину там, где нет реки, целлюлозно-бумажный комбинат надо строить все-таки поближе к тайге, а не в степи.

Плохая у нас привычка — вступать в спор не дослушав. Не успела наша газета опубликовать страницу «БВК: слово за специалистами», как уже кто-то из нетерпеливых читателей, не дождавшись обещанной второй страницы (а она вышла в следующем номере), отправил гневное письмо в журнал «Журналист». Из Москвы пришел запрос: читатели негодуют на газету за то, что она не имеет собственной позиции, не поддерживает народ. Ну зачем же так — сразу по всем клавишам?

Иметь свое мнение по любому вопросу — в порядке вещей, только не надо считать его единственно верным, а тем более мнением народа. Не будем превращать демократию в дубину, сокрушающую всех инокомыслящих. В пылу полемики нельзя забывать о корректности аргументов. Чуть ли не от каждого встречного, чуть ли не в каждом письме приходится слышать и читать ссылки на парижский журнал, на постановление минздрава Италии, из которых с «совершенной очевидностью вытекает» и т. д. И вот уже безапелляционный вывод: нам не надо синтетического мяса!.. Стоп! Вы лично ознакомились с зарубежными публикациями? Оказывается — нет. Аргумент некорректен. В серьезном споре уместны только серьезные и достоверные аргументы. Полузнания, перепевы с чего-то мельком слышанного, согласимся, выяснению истины не помогут, а совсем наоборот. Наших знаний достаточно, чтобы решительно возражать против строительства нового небезопасного в экологическом отношении завода в Северной промзоне Светловодска. Мы вправе высказать свои сомнения относительно новой технологии. Что же касается вопросов сугубо научных, здесь нам надо проявлять побольше скромности в суждениях.

Настораживают требования, содержащиеся в некоторых высказываниях и письмах: почему ученым позволяют морочить нам головы, почему их не заклеят?.. Что-то знакомое и пугающее проскальзывает в этих требованиях. Было уже такое, было, и горькая память о том жива. Мы говорим: учиться у истории. А в истории слишком много примеров побивания камнями «пророков в своем отечестве». Бывали ведь и «картофельные» и «холерные» бунты. Разве не предвзятость и невежество были в основе шельмования генетики как науки, а потом и физической расправы с ее представителями? Так можем ли мы вновь позволить себе огульное охаивание научных открытий и технологических достижений ученых и инженеров? При всем уважении к институту демократии, согласимся, что нельзя голо-

сованием решать, скажем, такие вопросы: применять или не применять то или иное лекарство, ставить ли на поток выпуск модели машины, рекомендовать ли новый сорт сельскохозяйственной культуры. Последнее слово в подобных случаях должно принадлежать науке, лабораториям, экспертным комиссиям. И никакой дискриминации демократии усматривать в этом не следует.

Не припомню другого случая, когда в редакцию пришло бы такое количество писем. Известно также, что в городе проводился сбор подписей, было немало собраний, посвященных проблеме БВК. Все это свидетельствует о том, что люди серьезно озабочены нынешней экологической ситуацией в городе. Время экологической вседозвленности кончилось.

С руководителей и специалистов спрос будет ужесточаться. Но без активной заботы об охране природы всех дело не сдвинется. Нужно, чтобы каждый на своем рабочем месте делал все зависящее от него по соблюдению экологического режима работы предприятия, чтобы изобретатели и рационализаторы на каждом предприятии искали и находили новые возможности уменьшения вредных выбросов и отравленных стоков, внедрения безотходной технологии.

Дальнейшая демократизация нашей общественной жизни определена партией как одна из ключевых задач перестройки. И всем надо учиться пользоваться демократическими правами, компетентно и ответственно.

ГОД ЧЕТВЕРТЫЙ

Главным событием четвертого послеапрельского года была, несомненно, 19-я партийная конференция. Как шла к ней у нас в Светловодске?

Калашников и партийный аппарат области выборы делегатов сумели провести по старинке, ни одного неординарного кандидата в списки не попало. А голосование на пленуме обкома все еще оставалось формальной процедурой. Сказать правду, на этот раз пленум прошел даже в особо благойственной и умильной атмосфере. Было в этом что-то от того единения, которое охватывает защитников осаждаемой крепости.

Прошли в делегаты сам Калашников, первый секретарь Каражарского горкома, несколько руководителей передовых хозяйств, доярка «трехтысячница», чабан — герой труда и знатный горняк. Одни по должности, другие за личные трудовые заслуги, люди достойные, но ни один из них бойцом за перестройку нигде себя не проявил. И все же с этими делегатами общественное мнение как-то смирялось. Крайне отрицательно было воспринято то, что среди них оказались еще и посол одной из африканских стран и республиканский министр. Тут шло из мешка вылезало слишком очевидно. В редакцию пошли письма. Автор одного из них ядовито, но резонно вопрошал:

— Каким образом в числе делегатов оказался посол Щетинин? Он что, бананы нам в Африке выбивает?

Я принес письма Калашникову. Он перебрал их с явным отвращением, словно прикасаясь к чему-то нечистому.

— Легко этим горлопанам указывать... Побывали бы на моем месте, — ворчал он. — Не я их выдвигал, сверху рекомендовали.

— А нельзя было отказаться? — спросил я. Калашников вскинул на меня глаза.

— Отказаться?.. До такой жизни я еще не дошел и, даст бог, не дойду.

— Что же делать с письмами? — напомнил я. — Промолчим — выйдет на нас республиканская, а то и центральная пресса, так припекут, что...

— Что и говорить. Горазд ваш брат на жареные факты, — пробурчал Калашников.

Ах, это магическое словосочетание! Как любят его на разных уровнях власти предрежащие, каким неотразимым аргументом против гласности оно кажется многим, как легко соскакивает с языка, когда это кому-то нужно.

— Что ж тут жареного? — возразил я. — Сами же говорили — вам порекомендовали сверху. Люди против этого и протестуют.

Калашников ничего на это не сказал, только поморщился.

— Если б дело было только в письмах, — заговорил он, наконец, снова. — На днях я вынужден был принять группу наших неформалов во главе с этим Кубраковым. Я пообещал им, что обком организует встречу делегатов с общественностью и там состоится откровенный разговор. Встречу эту проведем послезавтра.

Встреча проходила в большом, на восьмьсот мест, зале Дома политического просвещения. Областной партийно-хозяйственный актив в зале преобладал, обеспечивая аудитории надежный запас идейной прочности. Но и неформалов проникло в зал немало, так что зал был переполнен. У них хватило терпения выслушать доклад, с которым выступил Калашников. Сотни раз слушал я доклады и выступления Калашникова. Ох, уж не оратор! Но на активах, пленумах, конференциях казенная фразеология, монотонность, безликость его выступлений воспринималась вместе с шаблонностью самих этих мероприятий чем-то раз навсегда данным, неизменным и нормальным, как серое небо при мелком обложном дождичке.

Но тут была своего рода премьера. Калашников первый раз на моей памяти выходил на разговор с народом. Как ни густо сидел актив, «народ» в зале был и во все глаза смотрел на самого главного партийного деятеля в области, внимательно, пристрастно вслушивался в то, что и как он говорил. Оттого и я особенно ревниво слушал докладчика. Как хотелось, чтобы это был живой, интересный яркий человек! Ведь в зале были «чужие», и Калаш-

ников представлял перед ними и меня.

Все на этой встрече было как всегда.

В президиуме в первом ряду сидели делегаты, во втором ряду позади них члены бюро обкома партии, но было и нечто непривычное — два микрофона в зале.

Едва Калашников закончил доклад, по одному из микрофонов к присутствующим обратился Кубраков.

— От имени инициативной группы по изучению общественного мнения, прошу поднять руки всех рабочих, присутствующих на этой встрече.

Поднялось десятка два рук. В зале возник шум, послышался смех.

— Видите, — резюмировал Кубраков, обращаясь к президиуму, — вы любите говорить, якобы представляете интересы рабочего класса, а вот в зале на восемьсот мест на встрече с делегатами конференции, чтобы выслушать их и дать свой наказ, всего-то два десятка рабочих и те приглашены нами. Остальные — партийные, советские, комсомольские, профсоюзные функционеры, повязанные общими корпоративными интересами и дисциплиной.

— Но и вы же не представляете здесь рабочих? — нашелся второй секретарь обкома Аубакиров.

— Но я по крайней мере представляю инициативную группу, которая на девяносто процентов состоит из рабочих, — не затруднился ответить ему Кубраков.

Кубракова я немного знал. Филолог по образованию, он пробовал себя в журналистике, потом увлекся социологией и несколько лет проработал по этой части на машиностроительном. Оттуда ушел, по словам дирекции, как необеспечивший свой участок работы, по его словам, из-за принципиальных расхождений с дирекцией. Последние годы работает в техникуме. Он сильно изменился с тех пор, как мы были знакомы с ним. Возмужал, отпустил усы, поднапорел в писании и говорении. Он приходил в редакцию, предлагал обращение к народу от имени своей инициативной группы о создании комитета по перестройке, которому

были бы подотчетны обком партии и облисполком.

В этой его программе было и нечто из того, что действительно наболело в народе, но еще больше, как мне кажется, от претензий социолога-самоучки. В хрущевские времена, социологию стали было признавать за науку, а потом прикрыли за ненадобностью для тех, кто правил страной. Не развившись как наука, не приобретя статуса государственности, социология стала уделом энтузиастов. Кому-то удавалось овладеть научной методологией, но больше было просто дилетантов. Кубраков представляется мне последним. Он понахватался терминологии, овладел некоторыми приемами социологического анализа и, как говорится, пальца ему в рот не клади.

Встреча после удачного хода Кубракова, заставившего призадуматься, даже кое-кого из актива, о том, в каком действе они участвуют, продолжалась по сценарию обкома. Выступили с короткими отчетами-сообщениями все делегаты /кроме посла и министра/. Это были короткие казенные справки. Только работавший ранее на машиностроительном заводе каражарский секретарь горкома поиграл в демократа

— Правильно я говорю, товарищ Кубраков? Я думаю, товарищ Кубраков согласится со мной, — несколько раз обратился он к представителю «неформалов».

Их буквально забивали вопросами, на которые они порой не знали что ответить

— Были ли у вас конкуренты? — спросили из зала доярку Верстакову

— Понятия не имею, — чистосердечно ответила она. В зале зашумели, засмеялись.

Потом с места выступило несколько человек, представлявших неорганизованную часть аудитории. Впрочем таковыми они могли считаться только официально, а неофициально они были организованы неплохо.

Говорили о плохом проовольственном снабжении, медицинском обслуживании, об очередях, хамстве в торговле и бытовых учреждениях. Обстановка накалилась. Отвечать

на вопросы вышел Калашников.

Без бумажек, без готовых текстов, он на глазах у всех «пускал пузыри».

— Мы изучим этот вопрос... разберемся... примем неотложные меры...

— Признать выборы на конференцию недействительными! — раздался женский голос.

Калашников приободрился.

— Такие вопросы не здесь решаются. Это демагогия.

— Не можете руководить, уходите! — слышался чей-то густой бас.

— Ну, знаете, — начал Калашников. — Это хулиганство ни к чему. Таких мы можем приказать вывести.

Поднялась буря возмущения.

Перебивая общий шум и гвалт, Калашников объявил собрание закрытым. К микрофону рванулся Кубраков.

— Товарищи! Встреча не внесла ясности в волнующие народ вопросы. На выходе наши активисты будут раздавать вам анкеты по изучению общественного мнения. Просим заполнить и вернуть их нам.

— Ну зачем эта самодеятельность? — сердито оборвал его Калашников. — В обкоме партии работает группа по изучению общественного мнения, ее сообщения регулярно публикуются в областных газетах.

— Ваша группа подневольная, подчиненная вам же, мы ей не верим, — отпарировал Кубраков. — Наша группа ни от кого не зависит и даст правдивую картину общественного мнения...

Неумение разговаривать с людьми — общая беда партийного аппарата. Вот ведь присутствовал на встрече инструктор ЦК Компартии Казахстана Сухов. Видя, как разворачиваются события, как «топят» Калашникова, мог он встать и сказать что-либо от себя, от имени той высокой инстанции, которую представлял здесь? Нет, промолчал, просидел, набравши воды в рот. Не уполномочен. Привык быть в роли проверяющего, собирающего факты, не положе-

но ему собственное мнение иметь. Зачем же маячил в президиуме, изображал на лице важность?

Так прошла эта встреча. А мне ещё предстояло решать с Калашниковым, каким должен быть отчет о ней в газете. Мне представлялось, что в нем надо было как можно полнее отразить и характер вопросов и всю атмосферу встречи. Калашников категорически приказал построить информацию по классической схеме: состоялось, присутствовали, выступили, на вопросы были даны ответы.

Итог всего был таков: и встреча прошла и печать о ней сообщила, а подлинной открытости, доверительности, гласности не было и в помине. В демократию только чуть поиграли.

Ну, а какую информацию о конференции получили мы от наших делегатов по их возвращении? Не берусь судить о том, как информировали свои партийные организации остальные делегаты, включая посла и министра, а от Калашникова мы слышали немного. Поработав над опубликованной информацией и выступлениями делегатов, которые можно было не только прочитать, но и увидеть на экране телевизора, любой, не присутствовавший на конференции, при желании мог бы составить более яркий и впечатляющий рассказ. От себя в пустом малосодержательном докладе из общих слов и цитат он сказал всего лишь следующее:

«Одним из самых ярких было выступление Юрия Бондарева».

Вот так однозначно. Между тем лично я согласен с Г. Баклановым, поставившим в интервью после конференции знак равенства между статьей Нины Андреевой и выступлением Юрия Бондарева.

Но каждый волен думать по-своему. Других оценок, живых деталей, сценок от очевидца небывалого в нашей истории события мы не слышали.

Именно в те дни, как мне кажется, для всех, кроме него самого, стало очевидным, что ему надо уходить со своего поста.

Почти полгода после конференции он продержался, но это была агония. Ему намекнули сверху, видимо считая неудобным снимать — все-таки и участник Великой Отечественной, и стаж партийной руководящей работы большой. Его донимали письмами снизу.

В продтоварах — хлеб да килька,
В промтоварах — только шпильки,

констатировалось в одном из стихотворных посланий в его адрес. Все чаще область вздергивали по разным поводам республиканская, центральная пресса. На прямую конфронтацию с ним пошли второй секретарь обкома Аубакиров и первый секретарь горкома Горелов.

Вот зарисовка с натуры. Бюро слушало отчет заведующего облздравотделом Носова. В числе негативных фактов, вскрытых проверяющими, фигурировал и такой. Главный врач одной из сельских больниц на нескольких детей, умерших в возрасте до года после рождения, в течение года скрупулезно заполнял формуляры, отражавшие якобы применявшееся к ним лечение. По истечении года регистрировал смерть от той или иной болезни и дело сдавалось в архив, не омрачая статистики детской смертности района, области, республики и страны.

Одним из первых взял слово Аубакиров.

— Беру на себя смелость сказать, что бюро наше привыкло обходить острые углы, все сглаживать. Вот тут в проекте записано. Главврач, имярек, с должности снят, облздравотдел объявил ему строгий выговор. Да как же можно ограничиться эдакой полумерой в отношении к человеку, допустившему такое кощунство? Дисквалифицировать его надо! А я навел справки. Этот самый Касымов спокойно переехал в областной центр и получил место ведущего специалиста в горбольнице номер два. Не удивлюсь, если обл или горздравотдел и квартиру ему уже предоставили. Это ж круговая порука получается, а обком покрывает ее.

— Обком или вы имеете в виду кого-либо из членов обкома? — перебил его Калашников.

— А вы не перебивайте меня! — запальчиво отреагировал Аубакиров, — я член бюро, а не ваш помощник.

— Я на бюро председательствую, — возразил Калашников.

— Вот и выскажите свое мнение как председательствующий, когда будете выступать, а репликами меня не забивайте.

Аубакиров сел, провел ладонью по выпуклому вспотевшему лбу.

Вскочил Горелов.

— Это уже стало нетерпимо — на бюро невозможно поднимать принципиальные вопросы, у первого секретаря манера все сглаживать, размазывать, как гречневую кашу. Может быть, для его спокойствия так лучше, но нас этот стиль не устраивает, не то нынче время. А как реагирует товарищ Калашников на мои неоднократные заявления о необходимости увеличения мясного фонда для Светловодска? Положение с мясным снабжением в городе крайне обострилось, а товарищ Калашников, заботясь о своем здравии, нигде в верхах этот вопрос не хочет пробивать.

— Вы член ЦК, так что пробивайте сами, — вновь не сдержался Калашников.

— А вы почему уходите от решения этого вопроса? — наседал на него Горелов. — Как мне отвечать рабочим, почему у нас так плохо с мясом?..

Почему Калашников не уходил с поста? Попытаемся понять его. То, что мы легко называем теперь годами застоя, было его лучшим временем. Его взлет начался в шестидесятых годах, он рос, впитывая в себя все «добродетели» аппаратного работника, главной из которых была исполнительность. Он не умствовал, не подвергал сомнению, не выдвигал собственных идей, но не было и случая, чтобы пренебрег установкой, не посчитался с директивой или

устным указаниям сверху. Аппаратная работа стала для него не отражением жизни, а квинтэссенцией жизни: не было на свете ничего важнее, чем то, что происходило в этом замкнутом мирке с его ритуалами, с его иерархической выстроенностью.

Страшная штука — персонификация власти в лице одного человека. (И здесь не имеет значения, идет ли речь о секретаре райкома или секретаре ЦК). Работы у него столько, что на личную жизнь времени совсем не остается. Сколько раз Калашников, вернувшись утром, скажем, из Москвы (а с учетом разницы во времени и трехчасового перелета это фактически означало бессонную ночь), в десять утра уже вел бюро или присутствовал на каком-то неотложном мероприятии, где, по заведенному порядку, еще и речь должен был сказать. Он не знал свободных суббот, да и воскресенья большей частью отдавались работе. Имел он право считать, что недаром ест свой хлеб?

Плохую службу ему, как и многим другим работникам такого масштаба, сослужила наша приверженность к пожизненности руководящих должностей. За долгие годы пребывания на высоких постах люди утрачивают квалификацию как специалисты той или иной отрасли, привыкают к привилегиям и панически боятся оказаться один на один с жизнью.

А так, что же? Ну перестройка, так он же опять-таки неукоснительно исполняет директивы. С другой стороны, как проводил он бюро, пленумы, активы, представлял на разных собраниях и встречах, так и проводит и представляет. Как говорил то, что ему напишут, так и говорит по написанному. Он и не замечает, что поезд ушел без него, и все думает, что едет...

А тучи все сгущались. И наконец, разразилась-таки очистительная гроза.

С разрывом в неделю были освобождены от своих обязанностей Аубакиров — второй секретарь обкома в связи с переходом на другую работу и Горелов — первый

секретарь Светловодского горкома партии в связи с уходом на пенсию. Оба люди именитые, проработавшие в партийной организации области на разных постах многие годы. Что ж, в такие переходные периоды, как переживаемая вами кадровая ротация, неизбежно должна набирать ускорение.

И обоим названным коммунистам, может быть, в принципе и пора уступить места свежим силам. Вызывало недоумение, породило множество разноречивых толков то, как был обставлен их уход со своих постов.

Видимый миру ход событий был таким.

В первых числах октября состоялся исполком областно-го Совета народных депутатов, который утвердил Аубакирова в должности начальника областного управления архитектуры. На час позже началось собрание партийного и хозяйственного актива Светловодска.

Перед началом его посвященные делились новостью с непосвященными:

— Слышали?.. Аубакиров-то уже не второй секретарь...

В президиуме кроме членов бюро обкома были представители ЦК Компартии Казахстана. Аубакиров сидел уже не в центре рядом с Калашниковым, как всегда было, а на краю первого ряда президиума. Горелова, в то время тоже еще члена бюро обкома, в президиуме не было. Шепотом передавалось от одного к другому: в больнице...

Калашников открыл собрание, объявив повестку дня: о выполнении решений XIX партийной конференции по реализации продовольственной программы, обеспечению населения жильем, насыщению рынка товарами народного потребления. С докладом выступил член бюро обкома председатель облисполкома. Обрисовав общую неблагоприятную обстановку в области по вопросам повестки дня, он подверг критике и горком и горисполком областного центра, не способствовавших развитию в городе сети кооперативных магазинов, подсобных хозяйств предприятий и производству товаров народного потребления. Как иждивенчество в решении продовольственных проблем была

расценена докладчиком ориентация кадров на выколачивание дополнительных фондов и перекалывание ответственности за недостатки в продовольственном снабжении на вышестоящие органы. Крупные недостатки были отмечены также в реализации жилищной программы и сооружении объектов соцкультбыта в областном центре.

Из выступивших на собрании только первый секретарь Возвышенского райкома партии вышел на витавшую в воздухе, но ни кем прямо не сформулированную тему собрания — осуждение стиля и методов работы Аубакирова и Горелова. Остальные выступили с самоотчетами и дежурными просьбами в адрес вышестоящих инстанций. Председатель комиссии ЦК в своем выступлении дал более развернутую критику тех недостатков в работе горкома и горисполкома, о которых говорилось в докладе.

На этом собрание закончило свою работу.

Пленум горкома партии прошел через несколько дней. На повестку дня был поставлен организационный вопрос. Горелов довел до сведения пленума, что подал заявление об уходе на пенсию по возрасту. Затем пленуму был представлен Задорожный, рекомендованный на должность первого секретаря горкома из соседней области. Состоялось голосование. Просьбу Горелова удовлетворили, Задорожного избрали первым секретарем.

Такова внешняя канва событий.

Как комментировали их в Светловодске?

Для многих из областного и городского партийно-советского актива здесь давно уже не являлось тайной, что Аубакиров и Горелов не срабатывались с первым секретарем обкома. Расхождение их позиций по целому ряду вопросов партийного и хозяйственного строительства нередко обнаруживалось на бюро обкома, на пленумах обкома и горкома. Иногда полемика находила выражение в прямых или завуалированных личных выпадах в адрес друг друга. Для тех, кто об этом знал, исход событий однозначно свидетельствовал: в затянувшейся конфронта-

ции Аубакиров и Горелов потерпели полное поражение, и, как водится в подобных случаях, одни считали это за благо, другие были на стороне потерпевших.

Многие знали и то, что накануне собрания актива и пленума горкома в области работали представители комиссии партийного контроля ЦК Компартии республики. Очевидно их выводы и предопределили ход событий. Но это лишь предположение.

Поговаривали, будто большая группа коммунистов, занимающих высокие партийные, советские и хозяйственные посты, по инициативе Горелова обратились в ЦК КПСС с коллективным письмом, в котором излагалась просьба рекомендовать Аубакирова для избрания первым секретарем обкома на предстоящей областной партийной конференции. Слухи настойчивые, но без ручательства за их достоверность. Естественный вывод, который делали из них: убрали с дороги потенциального соперника тому, кого прочат в первые.

Коммунисты спрашивали друг друга, почему Аубакиров и Горелов, известные сильными характерами, настойчивостью, как говорится, бойцы, проявили вдруг такую покорность, ни слова в защиту своих позиций не вымолвили, ушли тихо и бесгласно? И отвечали по-разному. Одни намекали, что комиссия партийного контроля вскрыла такие факты в их деятельности, что им ничего и не оставалось, кроме как покориться своей участи. Другие утверждали, что на них хорошо нажали. Как? Аубакирову якобы предложили: если открытое разбирательство — пусть ищет себе хозяйственную работу; если уйдет тихо — почетная синекура. Горелову якобы предложено поразмышлять на другую тему: что лучше — досрочный уход на персональную пенсию или риск перед самым выходом на пенсию оказаться в положении человека не у дел? И — люди есть люди — каждый выбрал то, что его больше устраивало.

Толки, слухи, домыслы. И вопросы, вопросы.

Какая необходимость была в том, чтобы столь серь-

езные кадровые перестановки делать за месяц до городской и за два месяца до областной отчетно-выборных конференций?

Если бывшие столь ответственные работники партийного аппарата действительно сильно провинились, то в чем именно? Только исчерпывающий ответ на этот вопрос вызвал бы откровенный разговор на предстоящих конференциях, предостерег от ошибок, стал уроком для других. Виноват — отвечай по всей строгости, честно завершил свой трудовой путь — отдыхай на здоровье.

Или же это расправа с неугодными и инакомыслящими? Тогда чего стоят все разговоры о демократизации, открытости, сопоставлении мнений? Что это, как не урок всем: не высываться с собственным мнением, соглашаться, если даже не согласен, молчать, когда хочется говорить! Наконец, в конце октября прошел пленум обкома партии, поставивший все точки над «и» и развеявший туман над многими вопросами.

Пленум рассмотрел организационные вопросы. Представитель ЦК довел до сведения собравшихся, что Калашников подал заявление об уходе на пенсию по возрасту.

Проголосовали. Калашников сказал несколько прощальных слов.

— По-человечески тяжелый период в моей жизни. Закончилась моя трудовая деятельность. Но такова жизнь и с этим ничего не поделаешь. За всю жизнь я подал два заявления. Первое — когда добровольцем пошел на фронт, второе — сейчас. Как фронтовик, знаю цену жизни, чести, мужества. На фронте я научился презирать всякую низость, нечестность, предательство. Тридцать лет я на партийной работе, более десяти из них в Светловодске. В нашей работе было все — и радостное, и грустное, и тяжкое. Благодарю всех за многолетнюю совместную работу, желаю вам новых трудовых достижений, будьте счастливы.

Тут же был избран новый первый секретарь, рекомендованный ЦК Компартии Казахстана, — Дмитрий Николае-

вич Кудряшов. Пленум вывел из состава бюро Аубакирова и Горелова и избрал новых членов бюро.

В заключение выступил представитель ЦК. Он отметил, что область несколько засиделась на старте перестройки, подверг резкой критике состояние дел в промышленности, сельском хозяйстве, организации продовольственного снабжения, строительстве жилья. Как иждивенческую и вредную для дела перестройки расценил он позицию бывших членов бюро обкома партии Аубакирова и Горелова, которые, вместо того, чтобы развивать подсобные хозяйства предприятий, строить объекты переработки сельхозпродукции, новые магазины, требовали для области увеличения продовольственных фондов. Оба они, сказал выступавший, повинны в чрезмерной амбициозности и недостойном интриганстве...

Итак, ожидаемые события имели довольно неожиданный финал!

Незадолго до областной отчетно-выборной конференции руководящие кадры областной партийной организации основательно почистили и обновили. Не потому ли конференция, состоявшаяся в конце декабря 1988 года, прошла почти на уровне хозяйственного актива, не было на ней ни острой критики, ни серьезного разговора о стиле и методах партийной работы. Кого было критиковать? Калашникова, через несколько дней после пленума навсегда покинувшего Светловодск? И без того серьезно наказанных Аубакирова и Горелова?

Старое вместе с грузом его грехов отпало, новое не имело ещё ни в чем ни вины, ни заслуг.

Но как бы то ни было, в 1989-й год область вступила при значительно обновленном партийном руководстве. Время покажет, на что способно оно. Но все надеются — должно быть лучше...

На календаре — апрель 1989 года.

В начале перестройки вряд ли кто представлял, как глубоко корни предкризисных явлений, каких радикальных реформ потребует и экономика, и политическая система, и нравственная атмосфера в нашем доме. Вот уже четыре года прошло под знаком преобразований, реорганизаций, нововведений, всенародных обсуждений, а надолбы, вздвигнутые командно-административной системой то там, то здесь преграждают путь; а завалы застойного времени еще расчищать да расчищать. Обновление продолжается, и каждый день, раскрывая газету, включая радио или телевизор, мы узнаем о новых и новых законоположениях, проектах, реорганизациях, начинаниях. Процесс обновления идет неизбежно: рушатся старые схемы, новое нередко нуждается в апробации, наладке, притирке. Нелегко приходится сейчас аппаратным работникам разных профилей и уровней: на них все шишки за старое, с них нетерпеливый спрос за едва народившееся новое.

Всегда ли мы успеваем оценить значимость новых веяний? При быстрой езде за мельканием деревьев трудно увидеть лес. В этой заключительной главке я выстраиваю в один ряд события, объединенные только одним признаком: на моей памяти они впервые. Временные рамки заметок — первые три месяца 1989 года.

Дорого бы дали в недавнем прошлом иностранные разведки за те данные, которые впервые опубликованы в открытой печати в Заявлении Комитета Министров оборонно-государств-участников Варшавского Договора. Цифры, сравнительные таблицы, приведенные в Заявлении, убедительно свидетельствуют, что военный баланс вооруженных сил и вооружений Организации Варшавского Договора может быть охарактеризован как примерно паритетный с вооруженными силами и вооружениями Северо-Атлантического Союза, не дающий возможности той или другой

стороне рассчитывать на решающее военное преимущество.

Впервые обнародована и статистика, отражающая состояние преступности в нашей стране за последние два года. Статистика тревожная. Рассекречивание этих данных наверняка явится дополнительным импульсом к идущей сейчас дискуссии по Проекту Основ уголовного права. У нас в Казахстане рассекречен Прикаспийский горно-металлургический комбинат, разрабатывающий месторождения урана. Режим секретности под эгидой всеильного Министерства среднего машиностроения долгое время позволял комбинату безнаказанно наносить ущерб окружающей среде. Теперь местным советам проще и легче будет найти общий язык с предприятием.

Еще ближе к нам дела, касающиеся полигона близ Семипалатинска. Мы давно знаем, что живем в «сейсмической зоне». Нас периодически потряхивает, о чем мы узнаем не из сообщений ТАСС и не с помощью приборов. Вдруг покачнется пол, зазвенит посуда в шкафу, закачается люстра, и мы безошибочно определяем: где-то у нас произведен очередной ядерный взрыв. Нас не могло не беспокоить состояние радиационного фона в регионе.

Недавно в местной печати были впервые опубликованы официальные данные по этому вопросу. Но еще более обнадеживает впервые зародившееся в республике, только еще набирающее силу движение за безъядерный мир — «Невада». Активисты движения недавно ознакомились с экологической обстановкой на полигоне близ Семипалатинска. Мы начинаем разбираться в многоплановых проблемах ядерных испытаний, руководствуясь не только эмоциями, но и знаниями. На местах создаются отделения движения «Невада», открыт специальный счет для сбора добровольных взносов.

Объекты и данные, подлежащие рассекречиванию, далеко ещё не исчерпаны. Ждут своей очереди архивы КГБ и МИД, люди хотят знать, сколько расходует государство на военный бюджет, на космос. Движение в этом

направлении начато. А дорогу осилит идущий.

Сильное впечатление произвело на меня постановление ЦК КПСС «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место в период 30-40-х и начала 50-х годов», которым отменены внесудебные решения, принятые «тройками» и так называемыми особыми совещаниями, а все граждане, репрессированные решениями указанных органов, реабилитированы.

К реабилитации жертв репрессий периода культа личности Сталина у нас приступали несколько раз. Реабилитировали отдельных людей, целые группы, проходившие по одному делу, признавали фальсифицированными то один, то другой политический процесс. А громада дел оставалась только распчатой: количество «врагов», выявленных органами с помощью «троек» и «ОСО», исчисляется миллионами.

Но в ходе проведенных расследований были выявлены механика, приемы, методы «работы» репрессивного аппарата. Стало ясно, что вести речь об исправлении отдельных перегибов, о реабилитации в индивидуальном порядке нецелесообразно, с одной стороны, потому что при этом остается в тени само явление в целом, с другой стороны, так же бессмысленно, как срезать вековой дуб перочинным ножиком. Репрессиям, как явлению, порожденному тираническими формами правления и отсутствием демократических свобод впервые дана объективная юридическая оценка, подразумевающая не отдельные преступления сталинщины, а преступность всей системы сталинизма. Одновременно без волокиты восстановлена справедливость в отношении миллионов жертв репрессий. На пути к правому государству мы сделали еще один шаг...

Итоги венской встречи государств-участников Хельсинского процесса широко комментировались в печати. Итоговый документ, принятый на ней, выводит межгосударственные отношения на новое качество по всем

параметрам — военно-политическим, торгово-экономическим, экологическим, гуманитарным, правовым и другим. Многое в этих договоренностях за пределами моей компетенции. Но об одном важном следствии их мне хочется сказать.

На моей памяти впервые опубликована у нас Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Этот документ необыкновенной впечатляющей силы явился как бы итогом освободительной борьбы народов мира против фашизма, и от имени этих народов провозгласил, «что пренебрежение и презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают совесть человечества». Но советский народ ничего по сути дела не знал о том, что представляла из себя эта Декларация, как трактует она вопросы прав человека.

Я решил выяснить, как же все это подавалось нам, нельзя же начисто замолчать такой факт? Оказывается, можно. Во всяком случае, в Большой Советской Энциклопедии 40-50-х годов о Декларации ни слова. В энциклопедии следующего, третьего издания, в восьмом томе на странице 127-ой небольшая статейка, коротенькая, в общих словах справка о том, что документ состоит из преамбулы и тридцати статей, что он провозглашает элементарные права человека. А самое главное в конце статейки:

«Советский Союз, считая всеобщую Декларацию прав человека прогрессивным актом, воздержался от голосования при ее принятии, так как она не содержала указаний на конкретные меры по осуществлению провозглашенных прав и свобод».

Вот такое красивое объяснение. Воздержались, потому что с нашей, самой передовой точки зрения, документ не совершенен. А раз не голосовали за его принятие, то и не обязаны ни публиковать, ни выполнять его.

Знакомясь сегодня со статьями Декларации, гласящими, к примеру, о том, что никто не может быть подвергнут

произвольному аресту, задержанию или изгнанию, что человек имеет право покидать любую страну и возвращаться в нее, — нетрудно понять, почему во времена, когда простое упоминание о правах человека могло быть истолковано как выпад против нашего строя или преклонение перед Западом, этот документ не имел у нас прав гражданства.

И вот Декларация опубликована. Это не просто жест в сторону гласности. Мы взяли на себя обязательства выполнять ее статьи без оговорок как во внутреннем законодательстве, так и в международных отношениях...

Кто-кто, а потребитель никогда не был у нас в чести. И в мещанстве его обвиняли, и в частно-собственнической психологии. А на Западе, у наших идеологических противников общество так и трактовалось — потребительским. Общество потребления — что может быть хуже! Философские эти материи в обыденной жизни обернулись таким неуважением к потребителю, к клиенту вообще, словно он, потребитель, клиент, только и делал, что мешал нашему продвижению вперед. Его унижала торговля, его митарили в разных конторах, третировали в авто и аэровокзалах, в столовых, в больницах. Отсюда и пошел наш жаргон: выбросили дефицит, я — тебе, ты — мне. И встречный со стороны тех, кто нас обслуживает: не хотите — не берите; вас много, а я одна; гражданин, не мешайте работать! Отсюда покорное стояние в бесчисленных очередях, великое наше долготерпение в разных ателье, ремонтных мастерских, слесарках.

И вдруг публикуется проект Закона о качестве продукции и защите прав потребителя. В печати уже было немало критических замечаний по проекту — во многом он исходит еще из интересов ведомств, слишком декларативен и т. д. Ну, что ж, это ещё только проект. Но и это ещё не все. На местах начинают действовать инициативные группы новой общественной организации — Ассоциация защиты прав потребителя. Своим полем деятельности новая общественная организация намерена сделать всю область потреб-

ления, а не только производство и потребление товаров. В ее планах — издание собственных газеты или журнала. Как теперь выяснилось, движение потребителей во многих странах имеет свои традиции, более того, ему покровительствует ООН.

Неужели когда-нибудь настанут такие времена, когда в присутственных местах, в сферах сервиса будут руководствоваться лишь одним правилом — «Клиент всегда прав»?..

Эти три месяца шла предвыборная кампания. Много из того, что происходило в ее рамках, было впервые.

Впервые кандидатов выдвигали непосредственно в трудовых коллективах, а не по разнарядке сверху, откалькулированной по такому множеству анкетных данных, в котором разве что цвет глаз не учитывался. Впервые выдвигались кандидатуры от общественных организаций, инициативных групп, предлагали в кандидаты самих себя. Впервые кандидатами стали даже служители культа. Впервые обнародовались предвыборные платформы, на собраниях избирателей кипели страсти, разгорались дискуссии. Впервые в предвыборной кампании не было безудержного хвастовства несуществующими успехами, парадности.

Впервые было спокойное деловое голосование, а не «всенародный праздник», в день самих выборов. Не гремела зазывная музыка, не бегали по квартирам взмыленные агитаторы, понуждая нас поскорее выполнить гражданский долг; не стояли, салютуя, красногалстучные пионеры возле урны для бюллетеней.

Я не касаюсь здесь выявившихся в ходе предвыборной кампании недостатков самого Закона о выборах, позволивших в ряде случаев административному аппарату навязывать своих кандидатов, и некорректных форм борьбы со стороны отдельных групп и лиц. Эти стороны избирательной кампании достаточно широко освещались прессой. Вновь избранный высший орган власти очевидно внесет в Закон необходимые изменения — ведь не за горами выборы в республиканские и местные органы власти.

Впервые опубликованы не липовые, не с потолка пресловутые девяносто девять целых и девяносто девять сотых всенародного восторга, а реальные цифры, позволяющие видеть сложную и противоречивую действительность. И совсем в диво нам, впервые опубликовано «тайное-тайных», сообщение результатов выборов пленумом ЦК КПСС депутатов от Коммунистической партии СССР, из которого любой может узнать даже, сколько «за» и «против» голосов получил тот или иной член Политбюро.

Вот что с нами происходит на путях демократизации, к народовластию. Таких выборов еще не было. В истинном, ленинском понимании власть Советов и означает власть народа. Свободные альтернативные выборы делают неформальным, весомым каждый голос, и мы становимся политиками, гражданами.

В Светловодске по двум округам предстоят повторные выборы. Новый первый секретарь обкома у нас баллотировался по своему округу один (впрочем, единственными кандидатами в своих округах, как известно, были все первые секретари обкома в Казахстане) и стал депутатом. Можно представить, как проголосовали бы за Калашникова, доработай он до этих выборов и согласись баллотироваться!

Опубликованные результаты многих ошеломили. Одни впадают в панику, есть и злорадствующие. В толках можно услышать всякое. А что собственно случилось страшного? Кто сказал, что переход к демократическим формам, политическому творчеству масс пойдет без сучка, без задоринки? Гладко проходило все, когда мы не выбирали, а только голосовали. В школе демократии не один класс, а мы в эту школу только пришли.

Некоторые в шоке от того, что в ряде случаев не прошли в депутаты первые секретари обкомов и горкомов партии. Не по должностям выбираем мы ныне своих уполномоченных в высший орган власти. Не избрали, значит, ещё заслужить надо эту честь. Да и почему все первые секретари должны быть в Верховном Совете страны, мало

ли у них иных забот? Из печати известно, что первый секретарь Магаданского обкома партии А. Богданов на предвыборном окружном собрании... взял самоотвод. «В высшем органе власти больше должно быть рабочих,— сказал он.— И среди претендентов они есть».

Его самоотвод был удовлетворен.

Уронил ли свой престиж А. Богданов, пострадает ли его авторитет? Думаю, он может спокойно работать на своем посту. Дел и забот у него хватает.

Открытая предвыборная борьба, голосование по совести, убеждению, а не из страха и не по принуждению — это и есть демократия. А все «сюрпризы», которые преподнесли нам предвыборная кампания, выборы и их результаты — уроки на будущее. В конечном счете, будем лучше знать самих себя. Одно не подлежит никакому сомнению: мы голосовали за перестройку, за демократию, гласность.

Глубинка нынче со временем в ладу. В феврале Светловодск облетела необычная весть: у центральной проходной машиностроительного завода стоит человек с плакатом на груди: «Объявляю голодовку на рабочем месте, требую вернуть рабочую честь». Вокруг него толкуются люди. Одни сочувствуют, другие осуждают, третьи развлекаются.

Пресса, телевидение и радио, надо сказать, оказались на высоте, оперативно и подробно осветив этот небывалый факт. Достаточно четко сработали и новая администрация и обновленный партком завода. Конфликт за двое суток был полностью улажен, голодовку рабочий Валиев прекратил.

В основе конфликта была обычная, в общем, история преследования неугодного за критику.

Начальник лаборатории Мягков понизил рабочего, чья фотография не сходила с Доски почета, в разряде, лишил персонального оклада, ослабил как склочника и скандалиста.

Сам Валиев, когда конфликт был улажен, сказал:

— Я понимаю, конечно, метод исключительный, и при-

бегать к нему никому не советую. Просто для меня другого выхода не оставалось: круг замкнулся. У нас многие в перестройку не верят, а я верю, и считаю, что это и мое дело. Да и за товарищей обидно — ведь и их лишили чести, поучая на моем примере.

А жена Валиева добавила:

— Некоторые осуждают, мол, западный это метод борьбы, что муж не по-советски поступил. Неправда это! Советский он человек! Поэтому и не смирился с несправедливостью!..

Валиеву восстановили шестой разряд, выплатили компенсацию за причиненный ущерб. Коммунисту Мягкову объявили строгий выговор с занесением в учетную карточку.

Вот так преломляется в обыденной жизни то новое, что можно определить как осознание людьми своих гражданских и человеческих прав.

Итак, конфликт удалось быстро и безболезненно уладить. А вот с неформальными группами у нас в Светловодске всё ещё предпочитают работать одним испытанным методом — запрещать и не пущать.

В нынешней избирательной кампании их ущемляли во всем. Под надуманными предлогами отказали в регистрации кандидата, не допускали их представителей на окружные собрания и т.д. Они повели агитацию путем распространения листовок, в которых прицельно били по всем нарушениям Закона о выборах, допущенных властями, а нарушений было достаточно! Какую роль сыграла эта агитация в том, что по двум округам у нас ни один кандидат не набрал больше половины голосов, кто скажет?

Мое глубочайшее убеждение: с неформальными группами надо сотрудничать, переводить их энергию в русло перестройки.

Там ведь чего только порой не намешано! И благие порывы, и политическая незрелость, и стремление выделить

ся, и экстремизм, и демагогия. С чем-то придется мириться что-то прощать, в чем-то переубеждать в открытых дискуссиях, чему-то давать энергичный отпор. Сомневаюсь, что у нас есть другой, менее трудный путь.

БЕРЕГ

Предвижу вопросы людей, любящих во всем директивную ясность.

— А где же перестройка? Как в Светловодске решены такие-то и такие-то вопросы? Какую роль в перестройке сыграла газета, редактором которой являлся автор?

Нас такому подходу к литературе приучали долго.

Глядишь роман и все в порядке!
Показан метод новой кладки.
Растущий зам, отсталый пред,
И в коммунизм идущий дед.
Она и он передовые,
Мотор запущенный впервые.
Буран. Прорыв. Парторг. Аврал.
Министр в цехах и общий бал...

Ни метода новой кладки, ни общего бала в моей хронике нет. Перестройка в Светловодске только наметилась, а порой лишь бурно имитируется.

Но прозрение, споры, сомнения, попытки понять и осмыслить, о которых идет речь в хронике, как и сама публикация подобной вещи — факты перестройки. В чем-то я шел от «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет», многое постигал вместе со всеми и, осмеливаюсь думать, в этом отношении, как капля на капли воды похож на многих своих читателей. В книге не сказано обо всем

¹ А. Твардовский

о чем в ней не говорится. Придет час, об этом переломном времени будут написаны большие полотна, авторы которых неторопливо выстроят многоплановые повествования, выведут типы и характеры в диалектике жизненных коллизий. Я ставил иную задачу. История не только то, что мы проходили (или, как теперь выяснилось, чаще не проходили) в школе. Историей становится и каждый прожитый нами день.

Моя хроника — лишь заметки для памяти на полях ненаписанной истории, которая вершится на наших глазах и при нашем участии. Но, может, и они поработают на перестройку, кому-то помогут понять свое место в ней. А берег... значит, какая-то часть работы завершена и надо браться за новую, ибо, как сказал поэт, есть у революции начало, нет у революции конца...

1985—1989 гг.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

В путь	3
Неистовый Вениамин	6
Нюанс	14
Костя Кедров	19
Как наживаются недруги	25
Как молоды мы были	31
Омраченные новоселья	40
Охота	48
Куда смотреть редактору?	54
Мнимые величины	58
Да вершится	64
Фуку?..	70
Из секретного досье	77
Бывает и бурундук летает	85
Поезд идет из юности	92

Часть вторая

Мой оппонент	101
Трын-трава	113
Испытание урожаем	119
Не сотвори себе кумира	129
Декабрь — март	135
Учимся демократии	153
Год четвертый	163
На календаре снова апрель	178
Берег	187

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ШЕВЧЕНКО

ДА ВЕРШИТСЯ

Повесть-хроника

Редактор А. Швыдко

Художник Л. Тетенко

Художественный редактор М. Есерепова

Технический редактор Н. Галаник

Корректор Ш. Мукажанова

ИБ № 4853

Сдано в набор 22.08.89. Подписано к печати 15.02.90.
УГ 17 019. Формат 70×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарни-
тура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. п. л. 8,40.
Усл. кр.-от. 8,56. Уч.-изд. л. 8,79. Тираж 50 000 экз. Заказ
№ 4955. Цена 55 коп.

Издательство «Жазушы» Государственного комитета Ка-
захской ССР по печати, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая,
143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфи-
ческих предприятий «КІТАП» Государственного комитета
Казахской ССР по печати, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гага-
рина, 93.

Шевченко С.

Ш 37 Да вершится: Повесть-хроника.— Алма-Ата:
Жазушы, 1990.— 192 с.

ISBN 5-605-00695-9

Эта повесть своеобразный художественно-публицистический документ перестройки, ее осмысление

Рассказ о дне сегодняшнем перемежается главами о судьбе поколения, испытавшего репрессии периода культа Сталина, о формировании застойных явлений в жизни общества. Повесть актуальна и достоверна, авторской манере присущи искренность и полемичность.

Ш — 4702010201—027 — 14—90
402(05)—90

ББК 84Р7—44